

*Валерия Пустовая*

## Ода радости

*Записки печальной дочери*

### *В свете точки*

Сегодня, когда моей бабушке в Киргизии исполнилось девяносто лет, а ее дочь шестидесяти шести лет похоронили на подмосковном кладбище, рядом с ее же сыном, нашедшим вечный покой девять лет назад, я думаю о времени. О том, что в романах-то я люблю такой поворот: время истекает, и пересыхает роман, и пуст исток событий. Это момент, когда в книге кончается ресурс действия. Герои еще трепыхаются, еще надеются вывернуться и подогреть интригу, перетоптаться и выскочить в новую главу жизни, но автор торопит кульминацию и развязку. Это пора, когда возможности перерождаются в рок, намерения — в судьбу, догадки — в знание, с которым маяться в эпилоге и далее везде. Это созревание невысказанных желаний, это разлитие вскрытой крови, это опадание плодов, вспревших от приливов надежд и печалей.

Наше последнее с мамой лето в Киргизии я торопилась перелистнуть. Со всеми его привычными радостями: базары-горы, кафешки-барашки, арыки-алычи — все это не менялось из года в год, и тем пленяло, но и держало в плену: ведь и в жизни моей ничего не менялось. И про последнее мое лето с мамой на отдыхе я не запомнила ничего особенно хорошего, потому что все хорошее было, как всегда. А вот моя тревога осела в памяти, как самый дурной поступок.

Я хотела оказаться с мамой в Москве, и на новых условиях. Взрослой дочерью, встречающей ее пирогом и внуком, приведшей в дом мужчину, на которого мы с ней можем наконец положиться. Маме домой был куплен кухонный диван, такой удобный, что режет, как вспомнишь о ее страданиях, когда с него уже почти не вставала.

Я уехала из Киргизии, а она осталась. На первый свой полный год у бабушки, в изнанке спелого лета, в Венеции зимой. Слышала я, есть в Киргизии такая долина смерти, куда не стоит соваться в морозы, иначе застрянешь и пропадешь. Я никогда не видела этого места, но сегодня, думая о маме в зимней Азии, я представляю себе этот заснеженный капкан за окнами уютной двухкомнатной квартиры в кирпичном доме, в хорошем районе у парка, с видом на набережную сухого арыка, с вечной новогодней елочкой в углу и гирляндами старых родственных открыток по стенам под

---

*Валерия Пустовая* родилась в 1982 году в Москве. Литературный критик, эссеист. Кандидат филологических наук. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Новой Пушкинской премии (2008). Автор книг статей и эссе «Голстая критика. Российская проза в актуальных обобщениях» (2012) и «Великая лёгкость. Очерки культурного движения» (2015).

портретами дедушки и бабушки Ленина. Когда бабушка — впервые за много десятилетий — позвала маму остаться и позаботиться о ней, мама попала в ловушку. Она провела год в стране своего детства, где когда-то был союзный рай, а сегодня платят мукой и консервами за голоса на выборах, торгуют никому не нужными русскими книжками на барахолке вдоль заброшенной железной дороги и выстаивают первые маленькие очереди за фаст-фудом. В домах спилены батареи: за отопление запрошено столько, что проще сдать на металлолом. Бабушка боится ставить обогреватель: розетки изношены, чинить некому; при мне когда-то вызывали электрика — пришли три матерых пьяных киргиза и толком ничего не сделали. Холода стоят российские, и до апреля не прибывает тепла. По стране прокатывается волна бытовых пожаров. Мама кипятит воду на единственной плитке, переодевается дома в пальто и сапоги и занимается самолечением в холодной воде.

Я страшно боялась, что к ней там вернется старое заболевание бронхов — но обошлось. Мама очень не хотела бросать выгодную подработку няней — у знакомых, да в центре города, с неполной неделей. Ее подопечная уехала на родину папы, во Францию. Мы радовались такому удачному совпадению: теперь маму ничего в Москве не связывает, нет повода для метаний, Бог так славно все устроил.

Когда вышло так, как хотел, тебе это кажется преисполненным смысла: в мире появляется логика — твоя собственная, но ты приписываешь ее высшей силе. Когда все так, как хотел, ты хвалишь себя за то, что живешь в ладу с Провидением. Не вываливаешься и не торчишь, не вопиешь, не ропщешь.

Потом один из врачей, туманно обосновывая отказ в операции, скажет ей: «Вы слишком долго где-то ходили...» Ясно где: мама целый год ухаживала за бабушкой, не нуждавшейся в уходе, отвоевывала у нее право полистать интернет и поспать днем, когда сморит, помыть пол и выбросить старые тряпки, — бабушке, как и мне, хотелось пожить с мамой на своих условиях. Как бы то ни было, мама отдала дочернему долгу год, и разве это не достойно награды?

Потом я открою ее переписку со старым другом и прочту: «выбора у меня нет». И вспомню, как жаль ей было застрять в чужой уже стране, когда в Москве так много не досмотрено, не доделано. Ей не хотелось проживать еще сильные свои годы там, где даже в библиотеку не запишешься — требуют оставить в залог местную ID-карту, — а главное развлечение — базаровать. Весь год мы с мамой развлекались: обсуждали вытачки и оборки, длину и цвета, и она никогда не называла цвет правильно — так, как я бы его назвала, и было много смешной путаницы, и мешок в обратную дорогу рос, а мама, по привычке своей экономить, еще раздумывала, брать ли до аэропорта в соседнем городе такси, но я уговорила, и когда она переступила порог и я увидела, кто привез мне огромный тяжелый мешок замечательных, недорогих, теплых, нужных вещей, в которых я теперь что ни день, — ...

Мама должна быть мягкой, — всегда шутила я. И городилась, что мама моя кругла, и забывала юные ее фотографии, где высокая грудь и талия, какой у меня не будет вовек. Теперь я помню только на ее опавшем лице большие круглые глаза — доверчивые и удивленные, как у заблудившегося в ночи ежика.

Выбора нет, — считала мама, и я вслед за ней. Я люблю ситуации, когда выбора не остается, и не надо мучительно выбирать, потому что единственно правильное дано. И только теперь задумалась, откуда берется такая определенность решения. Если нет выбора — значит, есть глубокое и скорое внутренне согласие на то, что дано. Даже долг оставляет выбор: должен ли ты — сам ведь и решаешь. И мама решила, что должна.

Хотя никого из других моих знакомых женщин ее возраста нельзя было бы подписать на год жизни в таких условиях. Их внутренний компас стрельнул бы, отворачивая. Но мамина чуткость к себе сломалась давно.

Была цветущая женщина, а теперь посмотри, как из концлагеря, — сетовала она,

а я рада была узнать, что она все-таки считала себя цветущей, хотя отвергала маркие белые пуховики, жалела кожаное пальто, ленилась подкрашиваться, не терпела гладить. Больная, она вдруг стала на некоторое время стройно выглядеть и изящно одеваться, пила из чашечки с блюдцем, как, призналась, всю жизнь мечтала и не пила, покупать телепрограмму в журнале «7 дней» и удивляться себе, почему не брала его раньше.

И зачем я сетую на год в Киргизии, прошедший без диагностики и лечения, если знаю, что, будь даже мама в Москве, мне ох и не сразу удалось бы уговорить ее пойти к врачу.

Фантазии о том, как бы вы провели свои последние дни, утешают только молодых и здоровых. Мне тоже грезилась Неаполь или Прага с мамой — но стало бы у нее сил до ванны дойти.

Не покупайте, говорит, больше такое здоровенное средство для посуды. Лежу, целыми днями только его и вижу.

Наше время начало пересыхать весной, когда я, выйдя немного из-под сени старого замкового парка в Шотландии, узнала от коллеги по скайпу о том, что журнал, где я проработала больше десяти лет, лишится дома и едва сводит концы с концами. В тот же день в Фейсбуке прочла, что умер долго борющийся с болезнью муж Анны Старобинец.

Я хотела изменить себя, но чтобы мир вокруг ждал меня прежним, как брошенная в обед детская. Как будто время течет не для всех. И снова думала, как хорошо устроил Господь: вот ведь и отдых в Шотландии перед, пугали, материнской страдой. Я оплатила курс у психолога, чтобы никакие зацепки в прошлом не помешали мне всей полнотой сердца принять накатывающее счастье.

И я была счастлива, да. Все эти полгода с мамой в Москве, от 15 июля, когда ее встретил в Домодедове мой муж, до 25 января, когда я увидела последнее, рефлекторное движение ее рта, — я жила счастливо, как во сне о том, что сбылось заветное: в доме есть мужчина, чтобы опереться, и сын — радоваться, и мама — показывать мои достижения и видеть, как она ими довольна. Горю тесно в наших счастливых, до краев наполненных заботами днях: оно затаилось, замылилось сериалом Коломбо, заелось овсянкой и курочкой, сомлело в груди стиранных маленьких одежд, уснуло под свет улыбок. Эти полгода мы жили, как обычно — я прочтала в интернете, что это вернее всего. Мама сердилась на мужа, сидевшего в смартфоне во время еды, я возмущалась ею, откинувшей мои волосы от лица ребенка, муж терял терпение оттого, что ему не позволяют самому решить, когда мыть посуду. Она запрещала мне носить слинг и ехать с ребенком на вещевой рынок — я отбирала у нее копченую колбасу. Мы обсуждали литературные новости, посмеивались над сценаристами британского сериала, принимающими нас за дураков, удивлялись иным вопросам к батюшке на канале Спас. В наш самый последний вечер дома мы сплетничали про номинации НацБеста, хотя в пору было схватить ее за мизинец и сидеть, лбом вжавшись и повторяя: мама, мамочка, — но так мы уже провели день до того.

Днями было сухо и тепло, и только во сне — два раза помню достоверно — я рыдала от горя, в голос, до встряски в груди.

Я просила у нее прощения, а она отвечала: да ну, сколько и я по молодости глупостей делала, вот, скажем, когда эту квартиру дали, не хотела в ванной ручку к стене прикручивать — зачем мне, думала, я и так, — а теперь без нее ни залезть, ни вылезти.

Я обозналась в кульминации. Весь этот год, пока мама жила у бабушки, я восходила, охотясь за шотландскими овцами и тенями в своем прошлом, не к материнскому свету, а к сиротской мгле. Кто-то свыше знал, для чего на самом деле скоплены были мои телесные и душевные силы. Кто-то свыше знал, зачем именно сейчас у меня родился сын.

Он был с нами с первых минут горя, когда я, с ним на руках, поднялась на второй этаж диагностического центра Инвитро и узнала, что отныне держу в руках две жизни, нуждающиеся во мне почти с равной интенсивностью. Я гуглила пестушки-потешки и проценты выживаемости. Мы волновались, как на гонках, оставляя его одного для безболезненных, но нудных процедур, которые маме приходится выполнять через день. Раз в автобусе мы с мамой заспорили о квотах на лечение и в нервах едва не упустили коляску на выходе. Мы прятали от него шотландский плед, редкостно яркой расцветки, которую я для мамы едва разыскала, — он любил общипывать его, и мы боялись, что наестся шерсти.

«Пойду посмотрю на Буличку и тогда усну спокойно», — бывало говаривала она, прозывая внука в честь слова «забульбулькал», тут же ею самой для него и придуманное. С тех пор имя Булка приходит мне на язык куда скорее, чем его настоящее.

Он показал себя большим другом. Работал переключателем: прогонял холодную враждебность диспансеров, развеивал страх перед новыми симптомами ухудшения, тянул на себя мысли. Широко улыбался ей и не замечал, как она изменилась, и у нее отлегалось от сердца: что, ты меня не боишься? Хватал за руку, в которую она приучила его утыкаться, чтобы заснуть, — а теперь только и могла, что протянуть навстречу. Я до последнего подкладывала его к ней на диван — и она говорила слабо, но уверенно: не бойся, не упушу, — и держала хоть ногой.

На простыне с романтичным принтом в лодочках, выданной сестрой-хозяйкой, он провел с нами в хосписе полтора дня. На последних ее минутах крепко спал, а затем сразу проснулся и — привычно, но тут так вовремя — заныл.

«Я теперь надеюсь, что буду смотреть на вас оттуда. На Люличека, — пауза, — и на Люлечку», — сказала она, и я, отвернувшись, заплакала: она надеялась, что приедет на пару месяцев подлечиться и укатит обратно к бабушке, она надеялась, что не станет инвалидом, она надеялась, что вылечат, — в стольких своих надеждах она обманулась, так трудно поверить, что хоть этой суждено оправдаться.

Я не могу спокойно слушать детскую песню «Сюрприз». Каждый новый день приносит нам новую напасть, тело сбивает то там, то тут, круг возможностей сужается, скачущая кривая желаний вытягивается в лежанку. В декабре, когда окончательно решено, что новой химии ей не выдержать, мама впервые просит: «Господи, дай хоть пожить». Но уже подступает неделя, отнявшая у нас завтра. Все эти месяцы мы откладывали прощальные разговоры, перебивая печаль хлопотами о том, что под носом, и вот когда мама, велев перебрать две коробки своих лекарств, наконец готова: «завтра все позаписываем, поговорим...» — наутро оказывается, что грудь ей заложило одышкой. «Так много воздуха, а мне не хватает, Господи, дай хоть подышать». А когда я, накануне протоптавшись до вечера в палате и дома толком собравшись, чтоб засесть еще на день, примчалась в хоспис к врачу-обходу, мама уже была без сознания.

Никто не знает, как окончит жизнь, но потом кажется, что можно было и догадаться. Бог ревнив, говорят, и бьет туда, где теснее привязан к миру. Я смотрела, как у мамы отбирают ее последнее утешение — потрапезничать весело, понабрать вкусовостей, поделиться лучшим на столе. Вот они, наши гастрономические вехи к прощанию.

Пирог с вишней, с которым я бегу к ней из лавки «Караваяев» и плачу, потому что он не то, что может ей помочь, но то, что я могу для нее сделать. Креветки на гриле в новой районной кафешке, где мама успела напоследок посидеть в зеркалах и светском общении. Сервелат «татарский», купленный в мордовской лавке, которого она откусила колесико, поприветствовав: «я так соскучилась». Натуральные малиновые конфеты, которые принесла ей, чтоб хоть немного подсластить унылую диету, — она схватила радостно, но вскоре выпустила, пожалившись: косточка там, говорит, внутри, такая колючая. Четыре сырника, на которых маме пришлось дожидаться нас до самого вечера: мы ушли за покупками, думая, что она сама возьмет себе что-нибудь

из холодильника, — но сил встать и погреть не хватило, и вечером она сказала с обидой отлученного от груди малыша: «уйду от вас, вы меня не кормите!» Селедочный торт под Новый год, для которого она, собрав силы, встала и почистила варенные овощи и иваси, — а я от усталости и спешки выбросила банку с рассолом прямо в мусорное ведро, и пакет протек, и игровой мат ребенка забрызган, и в ванну он не помещается, и я выношу торбу с грязным бельем, и со зла толкаю дверь ногой — и попадаю в стеклянную вставку, и сижу под дверью, рыдая, что вот маме как будто сегодня лучше, что она хотела мне помочь, а я опять по своей глупости и нетерпению все испортила. Протеиновые бутылочки с ванилью для питания ослабленных, которые мама называла «моя мишка» и говорила: «Моя любимая пришла», — с такой нежностью, что я всякий раз обманывалась: про меня? Краб камчатский и лимонад, которых вдруг запросила в свой последний день дома, — лимонад едва пригубила и деликатес, едва клонув, отодвинула: «Не хватало еще крабом блевать». В хосписе она скажет: «Как у вас вкусно готовят», — хотя речь пойдет о протертых макаронах и котлете, и предложит мне: «Попробуй!» — как всегда предлагает самое вкусное. Я кормлю ее с ложки, будто ребенка прикормом. Она спросит, что это, и скажет задумчиво: «Ну да, это по мне, а то я на лошадь уже пересела...» — я не сразу пойму, что в виду она имеет конскую колбасу, которая от тоски по обильной и острой еде ей даже приснилась.

Это была ее, видимо, последняя шутка. Впрочем, нет: последней придется признать тот факт, что ушла она в Татьянин день. Мы часто прикалывались над тем, что в жизни ее, что ни знакомство, всюду встречают Татьяны.

Это был и день 80-летнего юбилея Высоцкого, чьи песни в кустарном еще, слепом издании мой отец подарил маме и подписал: «Жене, которая, как и ее кумир, не ищет в жизни легких путей».

Я знаю, как важно мне полюбить легкие пути. Суметь понежиться, положиться, помедлить, отказать, оставить себе — все то, чему не считала нужным учиться она. Но на неделе, когда повторное КТ показало, что химия не подействовала, я впрягаюсь в коляску с малышом и продуктами, и в ответ на предложение мужа помочь кричу «не тяжело!», и тащу что есть силы, и чувствую сиротскую эту смелость: вот-вот мне просто не останется, для кого себя пожалеть.

Иногда мама отворачивалась от внука: где-то услышала, что пожилым и больным не надо смотреть на маленьких. Какая чушь, говорила я, тем более уверенно, что знала: такая, как она, точно от ребенка не заберет. Когда в московской больнице умирал ее брат, приехавший к нам попытать позднего нового счастья, мама держала его за руку и говорила: «хочешь — возьми все!» Брат был домашним экстрасенсом и, вероятно, понял, что она про энергию.

В Киргизии бабушка направила маму помогать двум таким же, как она, немолодым одиноким женщинам, подвязывать виноград, и там из жлобства ее едва не заставили тягать здоровенную садовую лестницу. А соседка подписала маму помыть покойника — мужа другой соседки. Вдове мыть в морге было дорого, а соседке мыть на дому — боязно. Мать мыла, а вокруг, говорит, стояли гости дома и смотрели. «Что, брезгуешь?» — кротко спросила вдова, когда мама отказалась принять после обмывания, по какому-то дикому обычаю, мыло и полотенце. И мама, купленная за грошовую слезу, приняла.

Это как колодец, из которого черпают и не вливают, — выскажет психолог свое мнение о заболевании моей мамы. Я тоже черпала, я пила из него при всякой возможности, я приникала к ней — а кто у меня еще был? Она огорчалась только, если отданное ею не шло в прок.

Крестный путь — я чувствую это как крестный путь. Она вернулась домой, чтобы пройти его до конца. Сквозь вопли: «сдохни меня», — обращенные к Богу, в чьей власти оборвать страшное до срока, через унижение немощью и нечистотой, через измену тела, шатнувшегося под тяжестью беды, и бичевание словом: «кто только мордой

меня не возил», — как скажет о медицинских работниках. А главное, через несправедливость — незаслуженность, невольность горя. «Не пожила ни там, ни здесь, никому не помогла... Так с хорошими людьми не поступают», — когда-то старуха-соседка, которой мы одно время помогали, ввиду необыкновенной занятости ее собственной племянницы, сдуру скажет маме, что Бог ее не любит. И как я ни убеждаю ее, что Божий суд свершается не в дачах и здоровых зубах, обильных потомках и заграничных выездах, она верит, что оставлена.

Вся история ее болезни уместилась для меня в один-единственный образ — когда-то я провожала ее к бабушке, и купленные для нее московские конфеты перевесили в багаже, и маме пришлось подхватить полные конфет, рвущиеся пакеты и, трепеща, что окрикнут и не пропустят, пройти на паспортный контроль. Она движется прочь от меня одиноким испуганным ежиком, она обременена тяжелой своей недалёковидностью, она надеется, что проскочит, она боится, но тащит запасенное, она идет доверчиво и неприкрыто; ей просто некуда деваться.

Когда она ехала с консультации в диспансере, в метро у кого-то заиграла киргизская песня. И мама заплакала. То, что ожидало ее в родном доме, было так страшно и не нужно ей, что она готова была сей же час уехать на года к своевольной матери и неотопливаемой зиме, лишь бы уехать здоровой.

Но выбора у нее теперь точно не было.

Дальним знакомым в Москве мама велела сказать, что уехала в Киргизию. Дальним знакомым в Джалал-Абаде бабушка велела сказать, что мама осталась лечиться в Москве.

Обе эти версии я поддерживаю. Иначе с чего бы к моему сердцу прилило столько света, покоя и утешения, когда она отошла? «Ну умница, отмучилась!» — прошептала я ей, от души поздравляя и плача, потому что в расставании — как я читала где-то в детстве — большую долю печали принимает на себя остающийся.

В горе утешают только горькие книги. Одна история из книги Анны Старобинец «Посмотри на него» навела меня на светлейшую мысль. Речь шла об обреченном еще в утробе ребенке, рожденном, чтобы счастливо и полно прожить на руках у матери всего день. По сравнению с этим днем 66 лет — какая богатая, долгая, разнообразная жизнь! Моя мама родилась в Баку, выросла в Азии, училась в Сибири, работала в Москве. Она танцевала и плавала на байдарках. Она делала мостик до сорока. Она была одним из первых советских программистов и работала в Госплане, и я играла там, не подозревая, в пелевинского принца. Она одна вырастила дочь, но всю жизнь у нее отбою не было от поклонников. Она побывала в Италии и Париже. Она ходила со мной на «Дебют», Пушкинскую премию, новогодние вечера «Октября» и, однажды, на Русский Букер. Она любила персики и булочки, колбасу и пиво. Она шила себе платья и делала химическую завивку. Она работала честно и любила делить по справедливости. Она подавала на опохмел и никогда не била детей.

...Когда я впервые внесла сына в храм, я проговорила: «Смотри: тепло, красиво, Бог...» — и сама испугалась сорвавшейся глупости: кто же Бога на последнее место ставит? Но потом поняла: так сработал закон первого познания. Сначала грудь — потом мать, сначала купанье — потом дом, сначала игра — потом навык.

Сначала вместе — потом семья.

Бог начинается там, где тепло и красиво, иначе остается абстракцией.

Семья начинается там, где тепло и спокойно, иначе это толкучка случайных людей.

В слишком скоро — и это моя главная сейчас боль — минувшие полгода абстракция семьи наполнилась для меня новым смыслом.

Семья — это те, к кому возвращаешься, чтобы пережить свое одиночество.

Когда в один из самых тяжелых дней у меня ни минуты не было для ребенка и к вечеру он, устав быть золотым и незаметным, заголосил наконец, я склонилась над ним, обнимая и приговаривая: «Неужели ты думаешь, что мы тебя бросили? Ты ведь наш родной человек. В тебе ведь жива моя мама».

Нас двое уже, в ком ты, моя мама, жива.

## Ода радости

Последний раз со мной это случилось так давно, что будто с кем другим: мультяшная вспышка, над которой впору поржать, а ты поливаешь слезами широкое кукурузное поле, по которому носится эта — не вспомнить, зачем затесалась в сюжет, но остался след образа, как имя синдрома: рыжая хрень. Синдром рыжей хрени — так как-то я обозначила потом для себя эту неуместную силовую реакцию бессознательного, прорвавшуюся в кинозале чувством непоправимого, брошенного в кукурузу одиночества маленького сгустка жизни, по сценарию, кажется, забытого своими родителями-инопланетянами — такими же рыжими сгустками — и вынужденного теперь искать дорогу домой через мир мультяшных опасностей.

И вот сегодня, на «Головоломке», которой не один благодарный зритель уже прописал многозначность и место в мировом кинематографе, снова подпустило. «Головоломка», разбивающая сознание на пять чувств, десять островов и тысячи упакованных в стеллажи катышей-воспоминаний, учит психологической оптимизации. Предлагает принять линейку эмоционального набора: зовет пожалеть печаль. Наглядно показывая, как запрет на отрицательные эмоции приводит к перегоранию личности. Как круг игнора, куда выталкивают голубую печаль, засасывает в себя и спортивно неунывающую, солнечную радость.

Олицетворения эмоций, покрашенные в опознаваемые цвета: зеленый — тошнит, красный — бодаться, — должны в пяти образах, как на пяти пальцах, донести до нас мысль о нашей, по меньшей мере, пятигранности. Разнотонности личности, неделимой на допустимые и недопустимые спектры цвета. Апология печали — это апология полноты. И к финалу мультика — в диалогах желтого и голубого, которые все меньше смешат, — яснее становится односторонность, даже одиозность прыгающей радости, которая напрасно тянула команду на себя.

Дайте нам быть печальными, позвольте нам быть не устроенными, не тащите в счастье — мотив, укоренившийся в культуре в контру общественным утопиям прошедшего века, доказательство сложносочиненности персонажа, показатель эволюции. Апология печали — апология человечности. Радуются только простейшие, радуются дураки.

Сиреневенькие люди на стремительных тучках — точь-в-точь как голубая печаль из мультя — уносятся от желтого приободряющего мельтешения, чтобы спокойно с собой поноситься.

А мельтешащая желтая хрень, изрядно уже всклокоченная и подуставшая, продолжает натужно выдумывать слова ободрения.

И это надсадное мельтешение, порядком утомляющее толстеньких, на мягких носочках, от печали как раз ничуть не сбавляющих в весе и не устающих людей, напомнило мне одного человека — не черту, а целиком, всего.

«Ты можешь пойти дальше нее», — сказала мне как-то университетская подруга, когда я поделилась с ней, что наконец, после унылой подростковой поры, когда самые близкие сильнее всего теснят, наконец научилась ценить свою маму.

Не как ресурс, а как человека.

Перегорание радости, не умеющей допустить печаль, до последнего не верящей, что где-то не нарыла желтую свою, сияющую сторону, не запустила мячик вскачь, — такое в мультиках не показывают, но в жизни бывает. Видела я эту радость, сидящую в свитере недавно умершего брата, с которым они вместе жгли волка резинового и покоряли первое советское отделение программистов в Томском университете, с которым жили в разных углах империи, но вот довелось — через десятки лет встретились: у одной семья из двух человек, у другого недорассосавшаяся надежда переменить жизнь и подозрение на цирроз.

В «Головоломке» есть это упущение — сквозь ладную схему психологической гармонии просвечивает жизненная правда: такие вот, желтые и встрепанные, — всегда почему-то в единственном числе на пятерых. Один двигатель при четырех тормозах, один рывок на четыре предохранителя.

И мы с моим дядей, да, были в ту пору сиреневыми людьми печали, и, когда не ругались на почве женских (я в двадцать с гаком наконец пережила первую несчастную любовь) и мужских (он в возрасте деда развелся) комплексов, уживались молча и мирно, сопечалуясь каждый себе и не пытаясь растормошить, развеять печаль другого.

И только досадовали на гудок паровоза, прущего на всех парах к новой идее, выкатывающего желтые катыши нехитрых, простецких — дурацких радостей: мама накладывала шестнадцать пельменей, звала в пирожковую лавку в Абрамцево, ставила дядин любимый фильм, который дядя нежно прозвал «призрак, само, опера».

Ты можешь, да, пойти дальше матери — ведь каждый из нас рождается, чтобы отработать, как материал, для следующего, кто потратит себя чуть более с умом.

Но я не могу пойти дальше, пока не дойду до нее — до радости этой смиренной, до готовности ее смести сиреневые пятна сложности с лица и рвануться к простецкому: вкусному, горячему, обильному — такому, чтобы хватило на пятерых.

Бодриться — мамино слово — такой есть дар. Не унывать. Не сиреневеть. Не трогать катыши золотых воспоминаний руками печали.

Свою печаль приняв как дар — умею вслушаться, вплакаться, вжиться, — я хочу сегодня пожалеть радость.

Раздающую себя на пять частей.

Радующуюся за всех, пока другие лелеют свой сложный непонятый цвет.

В конце концов — и тут мультик не врет против творения — все начиналось с радости.

Пока не раздробилось на цвета, не обросло кнопками на пульте — пока не забыло золотой чистоты, которой сияет сама сила жизни.

## *Земля кочками*

На девять дней подарок, нарочно не придумаешь: звонит из поликлиники хирург, которого 8 января, почти месяц назад, вызывали на дом швы снять. «Выполнен, — говорит, — вызов на дом». Нет, говорю, не выполнен, вы так и не пришли. Я, говорит, не пришел, потому что до вас у меня вон сколько еще вызовов. Ну так, — говорю без ехидства, — помолитесь за нее. И он говорит без раскаяния: Царство Небесное.

Система, при которой надо месяц собирать анализы, чтобы лечь в больницу, занимать очередь на талон и брать направление на назначение, раздражает даже врачей. Но система объясняет не все и включает в себя не всех.

«Не вы первая, не вы последняя», — дословно говорит мне охранник — и это не в родильном отделении, где фолк и магия еще уместны ввиду чудопроизводства жизни, а в хирургии, и сказано не о жизни и смерти, а о клеенчатом кресле-каталке, на которой надо вывезти неходячего человека за территорию больницы и каталку вернуть. Ночь снежна, таксист на ломаном русском клянется, что подъехал. Это хорошая больница, каталок много, а в прошлой, плохой, мы с санитаром за кресло поспорили: «а мне что делать?» — «а мне??» — но в плохой пофигисты-охранники пустили машину прямо к выкату из отделения, поэтому я и теперь, как ездочка с выучкой, жму на пластмассовые ручки и мы, уверенные, что выйдем прямо к открытым дверцам такси, выкатываемся с мамой в степь.

Так кажется, что степь кругом, хотя это просто заснеженные задворки больницы, до бетонного горизонта белым-бело, приехали.

«Вы бы хоть спросили, если не знаете», — сердитый охранник разворачивает



меня на 180 градусов и тут-то сообщает, что такси подъедет дальше и вправо, но право слишком далеко, и я на полпути бросаю кресло, похожее на недосклеенную картонную коробку, в которой съехала набок, будто за своей съехавшей на снежных кочках косынкой, моя любимая кукла с тонкими руками, — бросаю и бегу назад, к серым воротам, успевшим опуститься за нашими спинами, в теплый просторный холл хорошей больницы, — чтобы переспросить, правильно ли поняла. Тут он и сказал свою некрасовскую фразу.

Направо оказывается КПП, где охранник уточняет для таксиста адрес, велит нам переждать в тепле и выражает уверенность, что машину бы пропустили. Возвращая каталку, я довожу до сведения охранника в больнице разночтения в адресе и правилах. Но в ответ слышу другую попевку: сама виновата. А зачем вы побежали, вот не побежали бы — и приехала бы машина.

Вывалинная в архаике, как в перьях, я вспоминаю, что и в плохой больнице охранник был тоже как из сказки, обиженный Емеля: я, говорил знакомой, не приглушая голос в чумазой гудящей проходной, почему здесь работаю — сослали! Да че, че, там опаздывал все время, вот и сослали.

Но эта жертва слишком строгого режима лично вышла из отделения, чтобы подогнать нашего таксиста поближе и подсказать нам, как пересесть в машину.

Зато врач, принявший нас по скорой в приемном отделении плохой больницы, был поначалу куда внимательнее к своим выпискам, выдернутым со злом из-под маминых ног на каталке, — так что и делиться ими не захотел. «На словах объясните», — благословил он нас обратиться к районному хирургу, чтоб сняли швы. Вызванная терапевт, в свою очередь уважая свои выписки, потребовала подтвердить необходимость хирурга документально. Бросив грудного ребенка на грустного мужа, я понеслась в плохую больницу, где мне выдали выписку без единого извинения, зато с примечанием: когда я пожаловалась, что хирург велел передать поликлинике результаты хирургического вмешательства на словах, оказавшаяся в приемной доктор с подчеркнутым снисхождением к моей отсталости предположила, что «может быть, он сказал вам зайти за выпиской завтра?» В ответ я тоже сделала смелое предположение о том, что в их приемном покое, видать, набрали стажеров. «Все сотрудники больницы — квалифицированные врачи», — авторитетно заверила меня доктор, и я уже не стала рассказывать, что молодой хирург не знал, как подступиться к операции и мерял и рвал одну за другой перчатки, пока санитарка не заругалась и не явился лысый врач постарше и поопытнее, который и сделал, что нужно. Не стала, как не заставила себя зайти в кабинет хирурга с вопросом, почему он так с нами поступил, — удовольствие сомнительное, когда получаешь его только на словах и не можешь зафиксировать документально, со словом-печатью от мамы, которая метко прозвала молодого квалифицированного врача «Таракан».

«Вы, я вижу, не в себе», — сказал маме как-то на приеме врач, записавший в листе осмотра с ходу, не взглянув: «кожа розовая». И на просьбу выдать результаты анализа вскрикнул: «Зачем вам? Для коллекции?» Хирург, напротив, заглянула — и прямо в душу: «А вы что, думали, на вашу опухоль тут сразу набросятся?»

«Только не тяните», — говорили маме, выдавая лист назначений, исполнить которые в поликлинике реально было через полмесяца или месяц.

«Как схожу в поликлинику, — сокрушалась она, — прихожу с разбитым сердцем».

Наша поликлиника глушит жалобы, как ватное поле, в нашей поликлинике пять рабочих мест отыграно у терминала ЭМИАС, и на УЗИ записывают ручкой в тетрадопку, и велют прийти завтра пораньше, талонов нет. «Я была вторая, и передо мной к этому специалисту не брали», — возражает мама. Что ж, отвечают ей, талонов нет, приходите завтра пораньше. Наша терапевт за направление к специалисту удавится, а когда поднажали, готова положить маму в больницу общего профиля — первую, где попадется свободная койка. Но и талон, и направления маме удается

добыть при помощи заведующей терапевтическим отделением, молодой женщины, у которой от этого самого умер отец, а в кабинете у нее, говорит мама с верой в людей, иконы. Потом я напомню заведующей о ее помощи маме, как о долге, и она снова пособит, и скажет мне: «окружите маму теплом и заботой», — и я пойму, что это значит, но распереживаюсь от другого: меня вывел из равновесия ее редкий здесь понимающий тон.

Хирург по вызову не пришел, да, — зато невролог сама предложила заочно заполнить форму на инвалидность, и мимоходом сделала мне замечание, что я от волнения неловко держу ребенка.

Дежурная врач с разбавленными серебром красными ногтями жалуется, что потратила на нас больше положенных 10 минут — но ее сутулый сменщик лично поднимается к заведующей и без очереди уточняет для нас информацию о процедуре выписки лекарств.

«Вы без звонка больше не приходите», — сурово выговаривают маме в диспансере, куда она явилась, по назначению главного химика, через 21 день. Главный химик легко дает направление — но в канцелярии считают, что мест нет. И никогда не звонят, и не берут трубку. Видите, — вопрошают грозно, отворачиваясь от мамы к завалам медицинских карт, — у нас сколько работы, а вы нам работать мешаете. В следующий раз, наученная товарками, мама на консультации сует главному пятитысячную, и он помечает карту специальным листочком, и маму кладут без звонка — и без возражений.

Зато швы на дому нам снимает зашедший для профосмотра с папочкой для бумаг и без единого инструмента врач из хосписа.

У порога хосписа №5 в Царицыно я впервые понимаю слово «бороться», которое устойчиво сочетается у нас с самым пугающим недугом. Канун Нового года, у крылечка синий олень и снеговик в шляпе, внутри сад комнатных растений, кот под вазой с мандаринами и клетка с шиншилой по имени Бенджамин. За окном розовая кормушка для птиц, на столе синяя скатерка. Посетителей пускают круглосуточно, сроки госпитализации не ограничивают. Высоченные врачи нянчат мне ребенка и доносят сумки до такси. Психолог лично приносит чай в чашке из ординаторской.

«Сердца ущип», — любила говорить мама, и в хоспise щиплет сердце от милоты и ласки. Этот элизийм кажется наградой за труды, компенсацией за пережитые унижения. Борьба осталась за порогом, борьба там, в диспансерах, для сильных — для живых. Здесь — приют для странников, пакующих вещи.

Это жизнь борется с нами, как вода с плакучей ветвью, прорывает нас, как травяной заслон. У жизни вечное лето, а мы прем на износ через снежное поле, пока не догадаемся сесть и поехать.

Не стоило маме так огорчаться, что не звонят из диспансера, — был праздник Покрова Богородицы, и я вытащила маму в храм, и там она дала волю слезам обиды, а не покаяния; это был последний день, когда она еще надеялась, что будет почестному, так, как должно быть и никогда не бывает. Не стоило ей тогда идти на исповедь к самому молодому и неопытному священнику — мама сказала, что к старым были такие очереди, ей стало неудобно, но что мог сказать ей этот юноша, кроме: почаще ходите в храм, а то вы не чувствуете себя частью Церкви? Не стоило впоследствии, едва удерживаясь на ногах, дожидаться своей очереди в процедурную на кровь, хотя пациенты пободрее ломились, не спросясь. Не стоило чувствовать себя хуже всех, которой и в том, что всем положено, хотя отказать, когда на консилиуме смурной бестактный врач спросил ее, как девочку на экзамене: «Вы лечиться-то хотите?»

Не стоило, правду сказать, и мне тогда с упорством декабристки толкать каталку с мамой до КПП: следовало отвергнуть саму возможность так с нами обойтись — и заставить побегать охранника.

Очереди и обиды, снег кочками. И вот ее отпевает тот самый, молодой,

священник, не знающий, что невольно пополнил ряд несправедливостей, валившихся на маму хлопьями.

Но он отпевает ее — и это тоже подарок, какой нарочно не придумаешь, потому что это люди ошибаются и вредят — а жизнь справедлива и любит завершать гештальты.

Жизнь борется с нами, пока не примем ее сторону. Когда-то маме приснился мелочный тягостный сон — про очередь и обиду, про обсчет на кассе в какой-то смурной столовке, и она говорила кассирше из глубины сердца: «Вы знаете, я так не хочу жить, мне так надоело жить!» Просьбу «пожить» я наконец услышала от нее накануне Нового года, за месяц до ее ухода. А за неделю до — она лежала и слушала море.

Был у мамы «красненький» — планшет в обложке женской расцветки, она оставила его у бабушки, думая, что скоро вернется и продолжит скайпиться с дочерью. Теперь у нее «серенький» — кислородный концентратор, который она сначала, боясь довериться новшеству, запрещает арендовать, а после тихонько гладит: он баюкает ее, в булькающей дистиллированной воде растворяя будто бы говор людей и шум моря.

Снег кочками и снег пухом. Когда-то мама тоже перла меня через зиму. Тащила, да упала, поскользнувшись. Лежит, и небо над ней не Аустерлица, а московской окраины, и о прозрении ее роман не напишут, и так хорошо, что можно залежаться и не вставать.

С замерших санок пискнули. «Жива, жива», — отозвалась мама, будто проснувшись и вспомнив, что правда жива, что снега впереди еще поле непаханое, и поле предстоит перейти. На санках деликатно замолчали, дожидаясь, когда поднимется и попрут.

Не стоило мне отговаривать маму кататься на коньках в ее последнюю зиму, когда она под видом няни проникла с подопечной на малышковый каток в парке Горького и, уцепившись за пингвина не по росту, сначала упала, конечно, а потом —

Не стоило, да, но она и не слушала, и поехала, и от души накаталась.

Мы прем через снег — но жизнь не замерзает. Накануне девятого дня у меня пушистый четверг. Кого ни встретили, все на удачу: нарядный парень, попросивший поддержать его ручную сумку, пока он дотолкал мне детскую коляску из перехода, любезный мигрант, шугнувший меня рупором из-под дома, где с крыши ссыпали снег, и сказавший спокойно: «не торопитесь», когда я все-таки попросилась срезать с угла дома обход, и случайная бабка, державшая моего ребенка, пока мимо проходивший дед, выкинув недокуренную сигарету, вправлял на место люльку, только что вылетевшую из коляски вместе с ребенком, когда я штурмовала снежную обочину, скрываясь от машин, тоже руливших по дворам. Ребенок всплакнул всего ничего и мы оба пошли посидеть в чайную для студентов, и к чаю с ситечком нам погрели сладкую вафлю, и я впервые чувствую, что отдыхаю, и раздумываю, кому же верить.

Как жаль, что люди, встреченные нами в тот день, не работают в медицине. Как хорошо, что теперь я знаю: и они рядом с нами живут.

### *Исповедь утенка*

Главное — вовремя выйти из подъезда с коляской, инсайт ждет. Сегодня — в виде двух немолодых женщин, одна другую спрашивает: че, мол, не выходишь? — А я же с щенком сижу, — хвалится другая. — Мои купили мопса. Он один не остается. Вот я и сижу.

Как много материнского в этом «мои», и бабушка — закоренелая в материнстве: сколько бы их ни народилось и сколько бы им всем ни стукнуло, они все, от щенка до главы, хочется представить, семейства — не сами по себе, а «мои», и с ними ей, как

с щенком, сидеть и сидеть, глаз да глаз, а то отчуждают, как обычно: вот, например, мопса купят.

С мамой до конца и чувствуешь себя как мопс. И в последние месяцы срываешься по первому зову, как щенок на прогулку, в сокровенной глубине души радуясь тому, что можешь ей воздать.

Университетская подруга приобщила меня к трудам психолога Берта Хеллингера, мастера семейных расстановок, который писал, в частности, что дети могут воздать родителям за многолетний труд воспитания — только посвятив себя своим детям. По месту отправления родительские дары — пресловутые бессонные ночи, якорное терпение, когда тебя штормит, принимающие объятия и поглаживающие разговоры, наряды и вкусности, подстроенные праздники и будние хлопоты — не возвращаются. Полученная энергия передается вперед, в будущее, она ведь и потрачена была, чтобы дать импульс новому, и в мехи ветхие не потечет.

Я хотела написать пост о чувстве вины, неизбежном перед ушедшими — говорят мне подруги сейчас, — да и пока мама жива, накрывавшем так, что его самого приходилось стыдиться — и дышалось трудно.

Я хотела запустить с самой собой флешмоб огрешек и грехов. От юности до последних дней.

От плетеной корзины, куда мы когда-то ссыпали репчатый лук и которую так удобно было подпнуть в сердцах, чтоб отлетело и отлегло, до асимметрично сплетенной косы, которую мама убрала от лица кормящегося внука, а я взвилась, будто мне волосы выдернули, — много дней спустя в автобусе чья-то незнакомая рука точно так же поправит мне косу, пока я неловко вожусь с раскричавшимся ребенком, и я вспомню мамин жест, как апостол Петр — предупреждение Учителя, что предаст.

От первого серьезного конфликта вокруг впервые назревшего ухода из дома — в юности, конечно, хотелось пожить отдельно, ну хоть попробовать и доказать себе и ей — ну, например, что смогу наготовить парню поднос замороженных голубцов — он после размолвки так и не доест, и выбросит — и только за тридцать пришло чувство теплоты от того, что вот рядом моя единственная родная на ближайшие тысячи километров душа, — до одной из последних нелепых ссор, когда она не пустит меня с ребенком на рынок, а я не смогу поехать без ее разрешения — так и не научилась делать то, что она не одобряет, и поздно было учиться, и когда она так же резко скажет про слинг: если в слинге — то я с вами не пойду, — я так же выйду из равновесия, но снова выберу ее, — и вот я вернулась и высказала ей — уж вернулась, так промолчала бы, — что надоели мне эти прогулки пенсионерские по одному и тому же маршруту, — а через некоторое время она перестала выходить из дому, и заданные маршруты кончились, и я вспоминала, как в тот навсегда памятный теперь день, едва сдерживая перзрелый свой подростковый гнев, говорила ребенку: смотри, бабушка кормит уток, — и оправдываю себя лишь тем, что пыталась сдержаться, и горюю, что воспоминание, как бабушка кормит уток, подсинено печалью, как в мультике «Головоломка», но тоном куда исчерней.

Священник скажет: это по-детски. Коллега и подруга скажет: это зарубка на память. Хорошее забывается — зато плохое врезается, как в камень. Я смутно помню первую неделю после объявления диагноза — она была полна нежности и невиданной бережности друг к другу, и как удачно, что муж уехал на рок-фестиваль и не мог разделить, убавив концентрацию, ни наше горе, ни наше единение. Надо ли говорить, что полгода мы не удержались на этой высоте и скоро опять зажили, как среднестатистические мать и дочь? Не помню даже, тогда ли мама впервые за жизнь сказала мне: ну что ж ты, детка, — когда я в суете и растерянности грохнула одну из баночек с только что купленным аптечным маслом. Я ждала справедливого попрека — а услышала только любовь. Не помню, да, зато отчетливо в памяти, что буквально за час-полтора до рокового известия, перевернувшего нас — да не

перепавшего, а будто подбросившего на месте и кинувшего, где были, какими были, только смятенными, смятыми судьбой, — так вот, незадолго до этого момента я опять сердилась на нее в мыслях своих. Я не хотела заходить в диагностический центр, да и не думала, что пустят с коляской, — она похлопотала о разрешении и позвала внутрь. И да, хорошо помню, что я, пролезая с коляской в приемную, думала о том, что вот опять все не так, как решила я, — а надо было о том, что ей просто тяжело было выходить ко мне, и она позаботилась о нас обеих. Но это я поняла куда позже, когда ее болезнь стала явной для меня не только в заключении диагноста.

Однажды она подначила и улыбнулась — а я надела забрало суровости, не разобрав, что она шутит по-доброму, — а недавно подруга написала, что помнит ее деликатную улыбку, и я спросила себя, замечала ли раньше, что да, деликатна и беззащитна? Для меня это срыв шаблона — как ее вдруг девчоночьи прыжки по бетонным блокам в лопуховой глухомани района — помню, как резко одернула вдруг, перепугавшись за нее, как может бояться за мать только малолетка.

Был когда-то совсем смешной случай: в телефоне квакнуло, и мама сказала, услышав: «блям!» — так мог бы сказать задумчивый ежик в мультике, но мне показалось, она опять говорит: прямо, мол, сядь прямо. Сохранилась детская открытка, в которой я обещаю ей чистить нос и есть морковь с творогом. Это был семейный стеб, но жаль теперь, что открытка не отразила других ее свойств — потому что бдительная забота — не главное, почему я ценила мамино общество.

Читавшая Берта Хеллингера, я все равно мечтала воздать ей — упокоить почетно на диване, сделать приглашенной к чаю куклой в моем игрушечном домике, где я наконец азартно вожусь с румяным пупсом и высоким Кеном. И ее замечания, и попытку переустроить мой домик встречала в штыки — расстраивалась, что ей, против ожидания, неудобно. И только однажды, чувствуя, как подкатывает детское раздражение оттого, что ей опять виднее, что кому и как делать, вдруг вся перевстряхнулась внутренне и просветлела: это же к ней сейчас вернулись силы — это же ей лучше — вот она и принялась за обычное мамское, заботливое, доминантное. Она высказывала с дивана мне и зятю, она никогда не заискивала и никому не боялась говорить, и теперь говорила храбро, надеясь, что я поняла: «Правильно я вас поругала, да? А то бы вы...» — ну, вот да, именно, завели бы мопса.

Даже в хосписе она подскажет мне, как лучше поступить с единственной для питья соломинкой — и я признаю наконец: «друг мой, — скажу, мы так часто называли друг друга: друг мой, — ты страшно умен, — и добавлю: а я так глуп», — имея в виду не соломинку эту, а всю нашу общую жизнь, обрывающуюся, как доска в океан.

После очередного примирения и моего безутешного раскаяния мама скажет: «Ты думала, я конь. А я давно уже не конь». Она открыла мне глаза — но я все равно вижу другое: маму на коне, как на одной из точных иллюстраций в книге стихов Маши Рупасовой, где «мамин человечек» едет с мамой на красном коне.

Мама-рыцарь, мама-герой, мама может — и как же она не конь?

Она раньше меня прищандыбала в детскую поликлинику, раньше меня с коляской — ребенок призахлебнулся, и она настояла, чтобы срочно его к дежурному врачу. Она подсунула загодя купленную в Ашане и сначала принципиально отвергнутую мною соску — я тогда тряслась за грудное вскармливание и читала, что подделка оригиналу конкурент, а мама смеялась: что же он, соску от груди не отличит? — подсунула в поликлинике, когда голосил, и спасла нас от бегства, а ребенка от срыва, и сказала: «Что, будешь мамочку слушать? Мамочка полезная?» Она так хорошо понимала малыша — говорила: «Что, ты кричал, а тебе ничего не дали?» — и поясняла, когда он впервые был замечен за хватанием и жеванием ноги: «Ножки мелькают, их так много — приходится ловить!» — и подсказывала: «Он сообщил тебе, что хочет на ручки». — «Как?» — «Ну, забульбулькал!» — и выгораживала передо мной, потрясающей отяжеленным подгузником: «Ну что ты, он чист, как голубь!» — и умилилась:

«О, щечку мнет улыбка», — и насмешничала, когда я сетовала, что он втянул мою грудь, как соломинку: «Он сделал из тебя соломинку — сделает и лапоть» — и велела приглушить свет, чтоб убаюкать, и убаюкивала, и тогда говорила с чувством выполненного долга: «Клиент готов».

Я так жадно стремилась доказать ей что-то — и сегодня сказанное ею мимоходом: «Мне нравится, как ты относишься к ребенку», — придает уверенности так, что понимаю: она теперь такой и останется для меня — последней инстанцией, где правда.

Мать невидимо говорит с каждым из нас — считают психологи: перемещается в осторожничающую, чуть что охающую и, когда страшно, прикрикивающую часть сознания. В своем внутреннем голосе, прислушавшись, можно легко различить ее заботливые побрякивания.

Мама не конь, конечно, а большая утка. Это мой психолог навела меня на этот образ, вдруг утоливший все мои терзания. Понимаете, сказала она, вы как в сказке про гадкого утенка. Утенку этому гадко самому от себя — вот в чем дело. Ему кажется, он такой неловкий, длинный, неприглаженный, все портит. А маме-утке что — это же ее утенок, ну да, длинноватый, ну да, пригладить бы его, но он — ее и потому ей безусловно нравится.

И тут я вдруг поняла что-то про маму-утку: понимаете, сказала я, мне надо было понять, что она слабеет, что она уходит, что не время топорщиться длиннее и унывать неприглаженно, — но я до конца не могла себе представить, что она не утка. Не моя большая утка.

Мама для меня до конца была конем и большой уткой, вот в чем дело. Я до последнего была уверена в ее, как говорит Людмила Петрановская, доминантной заботе.

И пусть я в том возрасте, когда забота тяготит, а доминантность не привязывает, а отторгает, — и пусть мы были смешны и печальны в наших тесных, из детства еще ролях — сейчас мне приятно вспомнить маму той, кому можно было дать отпор. Не послушаться ее твердой решимости. Или принять помощь и почувствовать, как вместе славно и скоро плывется в утином нашем пруду.

Мы твои, мама, да, мы твои утята и мопсы. Сидеть бы тебе с нами еще и сидеть.

### *Перед полуночью в храме гасят огни*

Сейчас трудно представить, что когда-то я могла так выразиться: сейчас даже поставить рядом эти слова трудно. Черная. Пасха. А вспомнить, к чему пригодился такой сильный образ, и того тяжелей — для самолюбия: неужели это я могла так расстроиться от пустяка? Впрочем, не пустячное дело — ждать Праздника. В героях Романа Сенчина, помню, когда научилась наконец извлекать удовольствие из его прозы, зацепило это — они ждали праздника. Обделенные радостью, уповали на некий специально устроенный, по сусекам собранный день, когда жизнь выстрелит ими в их низкое серое небо. О чем еще была для меня эта проза, как не об осечке праздника?

Помню поздний субботний вечер в доме мальчика, который мог стать мужем и не стал, и смутный спор из-за парадной рубашки — которую мать просила его надеть, а он не хотел, и как я поддакнула женщине, которая могла стать свекровью и не стала, и как он рявкнул на меня, окончательно выйдя из себя, — хотя вообще-то был страшно добрым и, как я теперь понимаю, от душевной податливости упрямым человеком. Мы опаздывали в незнакомый, недавно построенный между прудами и автодорожным мостом храм с широким, будто восточный шатер, синим куполом. Новый храм, с иконами, оставившими впечатление больших распечатанных фотографий, и прихожанами, поразившими меня тем, что не поют. Почему-то сорвался крестный ход — который для меня, нуждавшейся в лично пережитом приключении для входа в

торжество, перевешивал по значимости и волнительности пасхальную литургию. Вышли и снова вошли только люди в облачении — все пришлые остались в закрытом храме немо стоять и дожидаться. Помню, что тут я окончательно обиделась и, прихватив разделявшего мою неудовлетворенность результатами ночной вылазки мальчика, пустилась в личный, самостоятельный ритуал вокруг храма. Внутри уже всю служили славу Христову Воскресению, а мы шли в ночной тьме над провалами в кустарник и яблоневый сад — храм стоит на небольшом возвышении, — и я пела за двоих таинственный и печальный еще запев ожидающих пасхальной полуночи — праздничный затакт, — думая, что, вращаясь одиноким светильником во тьме, возвращаю гармонию нарушившему мои обрядовые ожидания миру.

Главное, что я вынесла из того вечера: никогда в споре с мужиком не принимай сторону его матери. Но главным было не это. А темно запавшее в подкорку ощущение, что поперек хода не бывает радости. Что счастье — это полнота единения с миром, гармония, которую не нужно наворачивать одинокими упрямыми шагами.

Бабка мальчика, известная своей мистической прозорливостью, так и сказала потом: мол, я ведь и знала, что у них не получится. Потому что нельзя романы крутить в Великий Пост.

У Дмитрия Данилова есть стихотворение о пасхальной радости. О том, что же такое — эта пасхальная радость, и не в том же она, что вот наконец «можно некоторое время / Все жрать / И можно, в принципе, пить», — не в «Великом» же «Расслаблении»?

В эту субботу я, кажется, поймала волну — сначала волну «Детского радио», включенного случайно и от тоски, чтобы заполнить чужим шумом забрезжившую пустоту. Муж-атеист укатил на выступление Хэловина, намеченные на завтра пасхальные гости отменились — так уже бывало: когда слишком цепляешься за мир, чтобы выпрыгнуть в него, и закрутиться быстрее, и закатиться куда-нибудь подальше, тебя неизменно сталкивает обратно, внутрь, в одиночную лузу, где мысли вертятся на одном месте, пока не найдут точку покоя.

Во мне вертелось раздражение — Праздник надвигался, а раздражение накатывало. Приступало, как самое дорогое и притом немного стыдное воспоминание. Как заштопанная колготка, которые мама, будто деталь для какого-нибудь букеровского романа, в самом деле подарила мне на тридцатилетие.

Сколько нас с ней помню, эта суббота великого кануна всегда проходила в раздражении. В день, когда святят оптом закупленные или выпекаемые куличи и пускают вокруг широких блюд и мисок выводки крашенных яиц, мы прилагали усилия, чтобы влиться в общий праздничный ход. Но все, как нарочно, обманывало. Солнцем бледным мазнет по глазам, холодным ветром задувает свечи, но мы чиркаем запасливо прихваченными из дома спичками, обрывком бумажки прикрываем глазурь в распакованном на пять минут куличе, едва затеплившийся дымок мгновенно сносит, спички бросаем, просим через стол зажигалку. Утром почему-то обязательно не выспимся, и выйдем, когда день перевалит за обед, и очень торопимся — хотя знаем, что святят до восьми и еще не вся земля под выставленными во дворе длинными деревянными столами засыпана погасшими спичками, будто сухими еловыми иглами дерева, наконец выброшенного весной. И кажется, пока спешим сюда, что слишком много людей уже идут навстречу — с корзинками в пакетах и мисками в руках, словно тут и приобрели, — и еще кажется, будто идут они как-то слишком степенно, как нам бы хотелось: неспешно пустившимися в путь к храму всей семьей, аккуратно обвязанными выглаженными по углам платками, с блюдом, где яичко к яичку, и святым предчувствием в душе.

Кто это — мы? Мы с мамой, вечно находившие, из-за кого бы попрепираться за столом — который чем длиннее, тем скорее за ним разбирают места? Святят до вечера, но за столом что ни год — нервная толчея, и в эту субботу я сама едва не от калитки

подгоняю мужа к завиденному пустому пятну на столе, загороженном плотными рядами спин, за которыми быстро накапливается вторая волна нетерпеливых хозяюшек.

Или мы — это уже я без мамы, но с мужем, который не верит, и сыном, который пока не понимает?

«Хозяюшка» — вот насмешка, и в иной день мне кажется, что уж я-то не унижусь до дрязги из-за оставленной в сушке вилки, не отжатой тряпки, не зачекиненной полоски пыли на двери — всего того, в чем меня когда-либо упрекали старшие женщины, от моей мамы до чужих матерей, которым, как я чувствовала, мелочи жизни были куда дороже моего человеческого достоинства.

И вот это я, что ли, теперь стою, радуясь, что дорвалась, и пререкаюсь с мужем, требуя от него непременно все-таки поджечь свечу, пусть даже погаснет, ну ради меня, тебе что, жаль исполнить мою просьбу? — и спинным, животным мозгом чувствую настойчивое присутствие женщины позади, чьи пакеты я уже мысленно взвесила и нашла слишком тяжелыми и объемными, чтобы поместиться рядом с нашими свободно расставленными коробочками, и подстегиваю себя воспоминанием, что мама учила меня не уступать нахамкам — на словах, и смущаюсь от воспоминания, что мама научила меня делиться всем, что есть, — на деле, и выглядываю через головы процессию с батюшкой и ведром святой воды, и волнуюсь, вдруг муж далеко отступит, и до него не долбют водой, и, расслышав просьбу, наконец отодвигаюсь и пускаю женщину к столу, и вот мы обе бестолково колупаем цепляющую картонную упаковку куличей и плотно завязанные дома пакеты, и мой ребенок в его первом, как у большого, раздельном комплекте из куртки и штанов на ляпочках, скользит в моем неловком объятии, и курточка скручивается до подмышек, и на фотках едва видно его глаза из-под шапки навыворот, съехавшей на лоб.

Я сучусь, как разумная дева, у которой достало масла в светильнике, и она не знает, как сделать так, чтобы это заметили все до самой дальней скамьи на брачном пиру. Час приближается — вот нас уже отгоняют от стола, и я волнуюсь, щедро ли покропит батюшка, и знаю, что вот-вот мои терзания кончатся: потому что мы с мамой мгновенно приходили в себя и притихали растроганно, едва нас разольет водой.

И вот сын мокрый всем лицом, куда не долезла сползшая шапка, и мужу попало, и хорошо попало мне — а я не могу остановиться: махнув мужу сворачиваться, я пускаюсь на поиски корзинки с подаяниями, и мечтаю, не встать ли снова под кропило, как делала раньше, при маме, и вдруг сдерживаю свою жадность до чуда, потому что чувствую: я выросла, не поможет, да и стремно, что батюшка узнает.

Муж ставит точку в моем внутреннем отчете о первом нашем семейном походе за святой радостью возбужденным рассказом о том, что я пропустила самое важное: его только что «покропило сторублевками» из поваленной ветром полевой лавки со свечками — на меня, говорит, снизошла благодать. Я сделала ему замечание, чтоб не смеялся над святым, потому что отец Евгений велел мне не бояться идти поперек мужа в подобных случаях. Но чувствовала, что сама не в том состоянии, чтобы заразить его священным трепетом.

Переключения не случилось, и, степенно выезжая с церковного двора, я заплакала горько, будто обманувшийся в себе апостол, да простит меня Бог, которому я так хотела быть верной в этот день, по старой памяти думая, что вот сделаем все, как надо, и в нас зажжется благодатный огонь радости.

Мне было стыдно, что все эти годы я думала, будто раздражение, отделяющее меня от праздничного предчувствия, — мамино, а оно так легко запустилось во мне самой. И было жаль, что теперь его не с кем разделить, как многие наши с ней памятные чувства и слова — нелепые, скрытые, домашние: вот уж кто не унижится до дрязги, так это мой муж, и я уважаю его за это, но и чувствую, сколько же всего мне никогда ему не объяснить.

В эту субботу я вернулась домой, будто в убежище, где придется пережить,



когда Праздник прокатится по всей земле, не задев меня, спрятавшуюся в мыслях, которым не к кому из меня выйти.

И вдруг на «Детском радио» сказали: Пасха мертвых.

Я подумала, что ослышалась: как бы охотно ни глотала я современные практики воспитания, такое прямое и смелое поминание о том, что мне больше всего в эту минуту мешает быть и мамой, и христианкой, в детской передаче меня напугало.

Хорошо поставленным диалогом мне рассказали, как объяснить папе и маме, почему на Пасху не нужно ехать на кладбище. Для этого есть Радоница — Пасха мертвых. Я вспомнила, как мы с мамой, искренне не понимая, удивлялись людям, которым из 365 дней в году понадобился именно Праздник Воскресения, чтобы ломануться поминать.

И страшно удивилась, как легко запустилось во мне и это — нетерпеливая жажда поминать и оплакивать в день, когда это менее всего уместно.

Я улеглась спать с ребенком, чувствуя, что эту Пасху уже пропустила, не нагнать. И проснулась за пять минут до полуночи, и успела на крестный ход по телевизору.

Показывали ночь, шаги по пустой тихой площади, на мои пять минут еще закрытые и вдруг отомкнутые двери храма.

И я вдруг поняла.

Можно жрать. Можно пить. Но не потому, что наступило «Великое Расслабление».

А потому, что все это не важно.

Наступил тот день в году, когда мы, будто разлитые водой нервные весенние коты, расцепляемся с тем, что преследовали так истово и вопя.

Впервые меня так лично затронули читаемые слова Иоанна Златоуста о том, что да радуются Пасхе все, постившиеся и не постившиеся.

Нет ничего, что надо сделать правильно, чтобы пришел этот Праздник.

Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его, — говорится в Евангелии, и мы силам в свою силу весь год.

И бабское наше с мамой, мешанское, в корзиночках и цукатной обсыпке, раздражение в Великую Субботу — оно о финальном рывке, когда хочется показать, что нахлопотал.

И вот то, что берется силою — дается даром. И вот ты гнался за радостью — а она опрокидывает тебя, как столы менял, и рассыпает сторублевками все, на что ты ее менял. И вот ты шел путем, который не с кем разделить, пока не понял, что это огородами плутал на задворках дома, где светятся окна, накрыты столы и тебя встречают в распахнувшейся двери шутками, что тебя только посылают за смертью, в которую здесь не верят.

Смерть разделяет и ранжирует, в смерти мы не равны и одиноки, и сколько же утрат принесла с собой первая половина этой трагической весны, и ни от одной своя не стала легче.

Пасха не утешает. Пасха разделяет. Преломляет, раздает себя.

Подойдешь, бывало, к иконе и взовьешься по привычке: Ты не знаешь, каково это... — и роняешь аргументы, как корзинку с яйцами.

Но это Бог, который знает, каково это. И не знает ничего, что нельзя было бы с тобой разделить.

...Охальник муж, нагнав на поздней дороге к дому старушку с лампадкой, рывкнул ей сорванным на метал-угаре голосом: Христос Воскрес! Старушка испугалась и ответила невнятно.

В воскресенье ни один из вообще-то открытых для нас домов нас не принял: хозяева недужили или уезжали, — и мы шикарно погуляли в Битцевском парке, по краю которого расселись семьи с детьми, жгущие шашлык чуть ли не прямо под деревянными лавочками, а в глубине разлились проталины. Мы волокли коляску через бурьян, обходя снежные топи. Ребенок впервые взял в руку «природный объект», как

выразился муж: упавшую веточку сосны. Ребенку строила глазки проезжавшая мамаша, а сам он смеялся над щенком-спаниелем, пившим из всех луж, как из моря.

Романтичный день должен был красиво завершиться в местном суши-кафе — но завершился в не менее продуманно обставленном приемном отделении НИИ детской травматологии на Полянке, куда нас с ребенком привезли на скорой, а муж доехал с пустой коляской.

Ребенок в скользком весеннем комбинезоне свалился вбок с лавочки, куда я его уверенно посадила и вроде как придержала коленями, встав над ним. Пол в кафе страшно твердый, ребенок страшно ревел, я страшно на себя ругалась. Обошлось. Повезло. Чудо. Так я и думала, и одновременно держала мысль о семье писателя Владимира Данихнова, на Страстной неделе узнавшего о рецидиве и вынужденного в Пасху начать свой крестный путь и новый сбор средств на лечение.

В ночь на понедельник Светлой седмицы я вспомнила, что за волнениями упустила самую счастливую подробность нашего праздничного дня.

Когда ребенок впервые взял в руки «природный объект», мы с мужем испытали общее беспокойство, и он высказал его, едва оно осуществилось.

— О, — сказал муж, указывая на хвойный объект, — он же сейчас его кусики сделает.

И сказал-то, как следовало ожидать, неловко: правильно говорить не «его», а «ему».

Я вздрогнула. Этого я не должна была услышать от мужа никогда — нашего с мамой словечка, вынесенного еще из моего младенчества и теперь переданного мною сыну, как старая советская погремушка.

Кусики-кусики, покусусики небольшие, а побольше обпоскусусики, а еще побольше — это уже облопатик, извини! — лопотала я ребенку, притворно возмущаясь его жадностью до груди.

Передавала сыну — а муж послушал-послушал, да и взял себе.

И с ним невольно мое никем не запомненное детство, и мою ни с кем не разделенную память, и мое дочернее счастье, и мою выгороженную боль.

И наше с мамой тайное слово стало плотью.

Нашей с мужем единой плотью.

## *Утро утраты*

В благодарственном акафисте «Слава Богу за все» есть слова, которые вдрут зацепили меня, как вообще теперь цепляет, удерживает, словно схватывает за колени и, снизу заглядывая в глаза, просит внимания все, что связано с образом ребенка. «Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву, и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженны прибегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова и ныне зову», — прочитала я будто другими глазами и, не успев одернуть себя, подумала, что это ведь теория привязанности в действии.

Недаром пишут, что над неофитами часто разливается благодать, дармовая, как радуга над родным двором с мокрыми после дождя качелями. Человек впервые тянется к Богу чуйкой выживания: там — тепло, там — свет, там — ждут и примут. Мою маму страшно раздражали героические песни про маму — у нее были свои на это причины, но я теперь по-новому поняла, чем они смешат и смущают: любовь к маме переслащена святостью, слишком одухотворена, — а чувство это животное, простое. Постепенно человек учится отличать и призывать ту, которая с загадочным поначалу постоянством является, чтоб взять на себя всеобъемлющие его, не перевесившего пока самый мелкий арбуз, тревогу и боль. Призывать — этому слову научил меня муж,

и оно вполне выражает тягу ребенка к матери: в компьютерных играх, сказал, так говорят про телепортируемых по требованию магических персонажей. Человек впервые призывает мать, когда плохо, чтобы стало хорошо. И это вполне выражает его отношения с Богом.

Зимним утром этого года, когда я через силу вывалюсь с ребенком гулять и впервые после ухода мамы почувствую привкус мира и тепла в белом колючем воздухе, я вышлю Господу свою искреннюю благодарность. Скажу: слава Тебе, — порадоюсь миг, и миг еще полюбуюсь своей смиренной радостью, и вдруг взорвусь отчаянными ругательствами: обнаружу, как только что, в двух шагах от дома от меня с концами ушел не старый еще телефон с кучей не сохраненных фоток, хорошо, что хоть заметки муж накануне успел поставить на синхронизацию.

Я оплакиваю телефон истошней, чем родную мать, кому я еще при жизни, на кремовом с розовеньким диванчике, который был куплен для нее и вдруг осел с ней на дно, как корабль, и оброс, как ракушками, пачками обезболивающих, разжижающих кровь и травящих новообразования, — кому я возразила, что ни за что не надену черное, когда она пыталась отложить кусок немаркого гипюрчика на свои провода. Я оплакиваю телефон, потому что он утрачен с концами, и факт его отсутствия особенно заметен на светлом пустом снегу вокруг дома, где, кажется, в этот солнечный день иголки не утаишь, не то что смартфон-лопату в обложке. Тогда как с утратой другой, поглавное, все не так ясно.

Зачем черный гипюр, если человек ушел туда, куда шел? В день ее смерти меня накрывает светлым чувством удовлетворения и покоя: она добралась. В благодарственном акафисте «Слава Богу за все» главный мотив — представление мира земного как всего лишь предчувствия, слабой проекции, преддверия мира небесного. Акафист прославлял бы здешний мир с почти языческим упоением — если бы не давал понять, что видимый свет — только отблеск. Чувственная метафора высшей радости. Погремушечки в колыбели тому, кто еще только готовится начать учиться собирать настоящие сокровища.

Но зачем тогда они — эти «благоухающий воздух» и «золото лучей», «сладкие плоды и душистый мед», и «небо Твое, сияющее звездами», и «высота музыкальных красот», и, прости Господи, «огненные языки вдохновения», которые, как ни прочту эти слова, обдают меня жаром не благодарности, а самоупоения?

— Мне все испортили, — убито сказала мама, подводя итог отблескам своей жизни.

Говорят, что когда уходят родители, наконец взрослеешь. Моей маме не выпал шанс повзрослеть, и я одна теперь разбираюсь с тем, что было в нас самого детского. Нашей детской верой в Бога, которая, показал опыт, не более чем привязанность. В свете маминой смерти нарушенная привязанность и обида на Того, Кто не явился, когда Его призывали.

Мне все испортили — это значит, что жизнь ее не дотянула до сказки, в которой той, кто вел себя хорошо, был в целом добр и не совался, как ворчит садовник у Толкина, в дела мудрых, в конце посчастливится. Тут еще не очевидный акцент на том, что посчастливится именно в конце, так как основной прогон сказки — это полоса несправедливостей, испытаний и трудов, которые и должна уравновесить, увенчать итоговая награда, иначе в чем смысл? Бог в глазах мамы сыграл не по правилам, а это значит одно из двух: кто-то из них плохой.

Развилка вспугнутого до бешеной пены ума, которой не избежала не то что мама — а например, христианский писатель и проповедник Клайв Льюис, в книге которого «Боль утраты» я долго ищу шовчик примирения с Богом. Клайв Льюис ведет дневник после смерти своей горячо любимой жены от онкологического заболевания — и себя не узнавая, вдруг кажется куда знакомей, понятней и ближе мне, чем в его отвлеченных, светлых и приправленных мягким остроумием сказочника

богословских эссе. Мне все испортили, — вот-вот будто скажет и он, с горечью потрясая руками, не удержавшими прошлое счастье, которое он описывает так убедительно, что начинаешь вместе с ним негодовать, зачем было Богу разрушать этот союз, блистающий отблеском нездешней гармонии едва ли не сильнее, чем «золото лучей» и «небо Твое, сияющее звездами»?

Льюис переходит к принятию утраты бесшовно, так что я не успеваю заметить, куда сослупить с развилки, чтобы последовать его примеру. Его книга начинается с альтернативы плохих: он ищет в своих отношениях с Богом ошибку, которая бы вполне объяснила его страшное разочарование, страшно сказать, в Нем самом. И вот я никак не уловлю, где именно, на каком ходе все еще сильной, приученной к трудной работе, мысли Клайв Льюис переходит от гипотезы, что он будто не знал Бога, к убеждению, что он не знал самого себя. В начале книги он называет Бога космическим садистом — а к финалу обращает риторическое оружие против себя, сравнивая свою веру в Него с карточным домиком, который Бог разрушил вместе с его брачным счастьем, стоявшем, как признает Льюис, на картонной любви — иначе откуда в его чувстве утраты было бы столько себялюбивых желаний и глупых подмен?

Меня не удивляет ни изящество этого логического выхода из отчаяния, ни, страницами ранее, несдержанный ужас перед одним парнем, по-обывательски собравшимся на могилку — маму навестить. Льюис, кажется, дрожит от отвращения — к тому, что можно здесь, на земле, принять за частичку присутствия ушедшего человека. Я хорошо понимаю его: и у меня к могилке — пустота в сердце, чувство, что пришла не туда, где она теперь. Не понимаю другого. Как мог даже такой искушенный в вопросах веры человек, как Клайв Льюис, забыться в своем счастье и решить, что оно в самом деле может быть целью Бога?

А все мы, все, пока живы, так думаем, и наши приемы по НЛПированию действительности — помни о хорошем, умей рисковать, говори уверенно, расставь приоритеты, иди за любовью, выбери лучшее, стремись к большему — в точности дом на песке, потому что когда, как обещает Евангелие, «пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот», — первое, что не устоит, это наша вера в счастье как цель бытия.

В утрате впервые по-настоящему настаивает догадка, что Бог со мной не заодно. Похоже на кризис трех лет в трогательном описании психолога Петрановской: человек изумляется, как это — мама, и вдруг может хотеть чего-то другого, чем я?

Критик Анна Жучкова, с которой мы уютно выясняли наши разногласия по поводу травматичной книги Анны Старобинец о потере ожидаемого ребенка и вдруг разожгли параллельную дискуссию о реально пережитых нами утратах, сказала мне: не держи обиду за маму. Ведь и маме, предположила она мне в утешение, болезнь послали как путь сжигания обиды на жизнь.

Это оборотная сторона веры в заботливое устройство нашего счастья как цели Творения. Тот, кто несчастен, всегда немного виноват. Именно в нем ищут — причину, объяснение воли Бога, вдруг захотевшего другого, чем мы.

Психолог Маша Мошковская, которую регулярно читаю в Фейсбуке, благодарная за эти бесплатные консультации в блоге от человека, за час терапии которому платят уже тридцать тыщ, — написала недавно, что если бы она заболела раком, то пришлось бы признать, что все-таки жизнь она не любила.

Явное противоречие с Клайвом Льюисом, опротестовавшим приговор своей жене тем фактом, что она как никто умела наслаждаться всеми радостями жизни — материальными, интеллектуальными, духовными, — наслаждаться и никогда не заскучать.

Впрочем, выше Льюис обмолвился, что счастье пришло к его любимой слишком поздно, — и мы готовы ухватиться за эту выброшенную на счастье тень сожаления, чтобы наковырять под ней корень недуга.

С хорошими людьми так не поступают, — говорила и моя мама, видя в приговоре проклятье, прижизненное отлучение, и вспоминала, очевидно по прямой ассоциации с этой главной несправедливостью жизни, все причиненные ей обиды, включая четверки в школе от историка, ревновавшего к ее независимому нраву, и немки, отомстившей за раз только прогулянную мамой олимпиаду. С ребенком не надо бодаться, — наставляла меня мама, но в нее саму будто норовили упереться лбами все значимые взрослые ее жизни, от ее матери до моего отца, старше мамы на вот уже забыла, сколько лет, но помню, что вравшего ей про свой возраст.

И когда я пыталась подогнать ей неловкое утешение в стиле брошюр для прихожан, где практические советы по спасению смешаны с расхожей риторикой, — мол, испытания не проклятье, а наоборот, способ помочь стать лучше, — мама отвечала с искренним удивлением ребенка: а я от этого лучше не становлюсь.

Обиду обидой не лечат, — поддержит маму и Лена Лапшина, когда я признаюсь ей в своем изумлении перед тем, как жесток урок Божий, если поверить, что болезнью Он исцелял маму от обиды на жизнь. В моем понимании урок имеет смысл только в свете гарантированной практики. Уроки здесь — чтобы научиться жить здесь.

Вина мертвого — главный щит живых. Горе — стыд перед людьми, это чувствовала и мама, запрещая мне писать в Фейсбуке или говорить знакомым о нашей беде. Здешний мир — для выживших, для счастливых, а горе отъединяет от всего, чем держится у очага узкий человеческий круг. В горе ты вытолкнут во тьму внешнюю.

Я помню, как, единственный раз за наш первый год, меня до злости задело хлопотливое внимание к моему ребенку посторонних женщин — санитарок в хосписе. Меня раздражали их воркования, советы прикрыть сквозящую дверь, и подложенные под малыша с игрушками чистые цветные простынки, и расспросы, и умиляшки — в то время как я прилагаю усилия к тому, чтобы маме срочно исправили кислородный аппарат, где кончилась вода, умыли пересохший рот и приподняли, как выразилась наша последняя «скорая», головной конец. Живые о живом — теперь я лучше понимаю их, неосознанно переключающих внимание с той, кому уже ничем не помочь, на того, в кого стоит реально вкладываться. Я и сама чувствую, как переключаюсь, и великий свет прощания, осенивший меня в день ее ухода — так что я чистосердечно призналась подруге, что вовсе не в отчаянии, и потом боялась, что она сочла меня бесчувственной, — сменился червивым страхом перед внезапной неизбежностью.

Елена Погорелая утешала меня тем, что матери нас учат умирать. Но я теперь боюсь быть как мама. Боюсь, когда чувствую в себе ее стремительное желание разделаться с очередным отрезком дня, и страстную концентрацию на том, что там, за ним, — помню, как сама же учила ее, поздно поумнев, не ждать нетерпеливо лета, потому что вместе с осенью, зимой и весной к новому лету минует новый год жизни. Боюсь, когда наваливаю на себя забот и злюсь на них, как на упорно наползающих муравьев, к кому сама забрела в муравейник, — помню ее повторяющиеся ночные проекции многозаботливых дней, когда снится, что надо вскарабкаться, отбиться, рассчитаться, вломить первой, от которых я спасала ее, подбегая будить, когда закричит, и мы шутили, что я всегда на дежурстве. Боюсь, когда, споткнувшись посреди самого рядового дня, я вдруг почувствую, как мелкое разочарование — ударились, пролилось, рассыпалось, убежало — вдруг добивает каплей по макушке, и я восклицаю в сердцах: как меня все достало, — или: как я несчастна! — или, совсем по-маминому: сволочь я, — и тут же дергаю Бога за полу домашнего мамино халата, дергаю и прошу: нет-нет, не слушай меня, у меня все хорошо, я счастлива, я всем довольна, только не отбирай у меня, не отбирай еще и это, оставь мне их, родных, живых, я учусь, я уже почти умею быть благодарной за все.

«Как часто горькую обиду подавляет смертельный страх», — пишет Льюис, и я чувствую, что мою благодарность Богу я теперь предъявляю, как паспорт с отметкой

о регистрации: только отпусти! И со страхом жду, что он еще предъявит в ответ. «Нельзя ругаться, а то Боженька язычок отфигарит», — непечатно и мрачно высмеяла мама свое впечатление, как чересчур много того, за что ей могло вот так прилететь.

Воздаяние — пожалуй, самый далекий от Евангелия этический принцип. О людях, «уже», то есть здесь, при жизни, «получающих награду свою», там сказано с пробирающей до костей угрозой. А о жертвах, к примеру, массовых катастроф — что они не грешнее прочих. Евангелие мотивирует не на добро в десяти заповедях — а на любовь в двух направлениях: к Богу и ближнему, — а тот, кто любит, не нуждается в мотивации. «Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра», — спотыкаюсь я в благодарственном акафисте о слова, которые на язык психологии переводятся как принцип полноты ответственности за любое решение: что делаешь, делай для себя. Однажды я сообщила подруге, что подала в храм, и она усмехнулась: большое одолжение Богу сделала. Добрые дела — наш амулет от встречи с Богом: мы стараемся доказать, как полезны на этом свете, чтобы избежать увольнения на тот. «Я бы многим помогла», — с нежной мечтой проговорила мама, словно от души протягивая Богу на льготных условиях составленный договор, — а потом, недели спустя, разрывая его в отчаянии: «Я никому не помогла», — потому что уходила, не проводив мать и не вырастив внука, в междущарствие ее преклонных и его ранних лет, — вынужденно и впервые допустив мысль, что ни матери, ни внуку она в глазах Бога ничего не должна.

Последние годы она жила в страхе, что с матерью там, в Киргизии, за три тысячи километров от нас, случится непоправимое, окончательное, а ее не будет рядом для немедленных действий, и мать будет «валаться», и надо было видеть облегчение, с которым она крестилась в условные дни, отзвонив бабушке, — чтобы словить дзен от безразличия, с которым она махнула в хосписе на мою тревогу, что придется с младенцем ехать в Киргизию: да зачем, там же есть еще Джамия.

Самый бесполезный год своей жизни мама проведет, считая, что выполняет свой долг: в Киргизии с матерью, которая не выходит из дома и все хуже видит, но выжила ведь без дочери, когда пришлось. Я помню, что отпустила маму по внутреннему договору, который и мне Бог не подписал: отпустила по-хорошему, чтобы не отнял силой, потому что не ругай постылого — отнимет Бог милого, говорится в еще одной не подтвержденной Евангелием бытовой мудрости, которой и мама верила, и в тот же год призналась мне, что специально решила меня теперь не слишком любить, дабы не перегружать карму ожиданиями.

Весь свой бесполезный год мама мерзла, изнывала от скуки и мучилась животом, подключаясь к миру, радости и смыслу через планшет, который я насилу уговорила ее взять с собой для связи. Весь год она гладила меня, беременную и счастливую, на экранчике и, пользуясь неограниченным ночным интернетом, смотрела на Ютубе ролики про любимую и только однажды вживую увиденную Италию.

Бог забрал ее, когда она могла быть всего полезней и счастливей не меньше, чем Льюисова жена, к которой счастье тоже пришло слишком поздно и ненадолго, как будто в примерочную перед закрытием магазина. Мама успела понынчиться с чужой внучкой, к которой нанялась на подработку, и впервые, насмотревшись на наши титановые обручальные кольца, которые я едва уговорила мужа купить и теперь, под стать ему, не ношу, пожелать чего-то для себя: хочу, говорила в планшете, какое-нибудь кольцо, в молодости, вспоминала, я не признавала серьги, а вот кольца носила. Я разволновалась так, будто она потребовала у меня определиться с квартирой для ипотеки, но к осеннему ее дню рождения случился отбой: нет, сказала мама, меня не порадует, без главного, чего бы я теперь хотела, меня ничего не порадует.

Многие утешали меня, указывая, как милостив Бог, допустивший, чтобы я вышла замуж и успела родить до того, как маму перестанет радовать. А я теперь думаю, не больше ли Его милости в том, что я тщетно пыталась выйти замуж и родить и тридцать пять лет прожила с мамой, несмотря на предупреждения подруг, что пора и квартиру снять, а то никакой личной жизни, — тридцать пять неразлучных лет перед полным обрывом контакта?

Тебя Бог не любит, — сказала вместо спасибо маме едва ходившая соседка, которой мы носили молоко и хлебные батоны, потому что ее единственной племяннице некогда. Но чем мы меряем Его любовь? Только что не батонами.

В наше последнее лето с мамой я будто репетировала утрату. Я была на пороге перемен и торопилась переступить, смутно чувствуя непонятно кому адресованное досадливое облегчение от надежды, что уж на будущий год я не в том буду положении, чтобы опять, как девочка, ехать на каникулы к бабушке. Я приехала отдыхать с полным колчаном нерастраченных сил, которые вдруг просыпались вхолостую: весь отпуск меня трясло от призраков прошлого и тревоги за будущее. Кульминацией того лета стала ниоткуда, как облако в окно, всплывшая после счастливого вечернего сна в маршрутке из дышащего горными ледниками селения мысль, у меня будет рак, — и животный хрип сознания, боровшегося с этим всплывшим ужасом до следующего лета, когда я родила малыша в зодиакальный месяц Рака и подумала, что вот так легко отшутилась от непонятных предчувствий. А завязалось в шашлычной с пивом, где я впервые столкнулась с утратой — тоже как будто всплывшей в пивной пене и ударившей маме в голову, обычно не отвлекающуюся от текущих забот: «Бедный, — сказала она ни с того ни с сего, — бедный Касатик».

Это еще один урок от мамы: что чувство вины, как и чувство долга, не дружит с чувством реальности. Мама не должна была мучиться в Киргизии год — как я не должна была подскочить, будто от пивной икоты, когда она размякла от радости встречи и еды и приоткрылась душой.

Знаменитая Гиппенрейтер учит родителей активному слушанию в диалоге с детьми, но даже взрослых, понятных и равных, признания колотятся в нас, как мяч, заскочивший в трубу, и застревают в уме резиновой падалицей. Прошло два года, прежде чем Гиппенрейтер в аудио, терапия и собственные неотступные размышления подсказали мне единственно верный ответ на мамину реплику, которая вытянула бы мяч обратно в веселую летнюю игру. «Бедный Касатик», — говорит мама, называя своего брата с домашней лаской их бабушки, — это прозвище мама закажет выгравировать на его кладбищенском памятнике, и я тщетно буду подбрасывать этот ориентир администратору Ракиток, с которой мы ищем место захоронения, куда через день подселим мою маму и где трава забрала и домашнее имя, и ФИО, и полтора года назад цепко вкопанные мамой в землю тряпичные на проволоке цветы.

И я отвечаю: «Скучаешь по дяде Вене», — без вопроса, как советует Гиппенрейтер, и называя чувство мамы тем словом, какое ко мне самой пришло только через полгода после ее смерти, когда я только и научилась понимать, что могла она чувствовать, когда ушел ее брат.

Вместо этого я, как часто в детстве, блокирую ее приоткрывшуюся ко мне дверь и напирая со своей стороны полным сумбуром чувств об ушедшем дяде, куда включено все, кроме собственно утраты, которую я и в отношении мамы расчувствовала не сразу. Мы вспоминаем самую детскую — а потому не подконтрольную взрослому человеку — боль: про то, как дядя Веня собрался с мужскими силами, и, будто заемный отец, отправился с мамой встречать меня из первого и единственного в моей жизни горного похода, оставившего мне большой рюкзак, с которым я моталась в Европу и на форумы молодых писателей в Липки, спальник с пенкой и долгие годы не заживавшую травму. В походе у меня не сложилось общение со спутниками и вообще все пошло против моих ожиданий от компанейской прогулки в лесах — пожалуй, сейчас я бы оценила возможности той поездки, и она прошла бы глаже, но если бы не обожглась тогда, многое бы не научилась ценить. И вот меня встречают два человека, которых мне не хватало призвать в походе, чтобы разрулить непонятные трения с насмешливыми спутницами и узнать, как действовать, когда на тебя вот только что, в аэропорту, наорала из-за неразберихи с чемоданами и каталками твоя бывшая одноклассница, с которой мы уютно просидели несколько лет математики и английского, да горный маршрут рассадил. Только став мамой и впервые раздражаясь на того, кто передо мной беззащитен, я глубоко пойму главное утешилово, которое подгоняют

психологи обиженным клиентам: люди срываются от бессилия, не бери на свой счет. Тогда же я вываливаюсь из аэропорта окончательно раздавленная, будто горная букашка, туристическим рюкзаком, с одним желанием — немедленно уткнуться в маму и поплакать, но при дяде приходится держаться и дергаться, а он тоже не знает, что люди срываются от бессилия, и берет на свой счет, и счет тот подлиннее моего, и вот торжественная встреча родных подмочена, медные трубы хрипят от залившей их грусти.

И надо же было, чтобы именно в это лето мне подвернулись фотографии моих давних спутниц из нового похода в дивной плюшево-зеленой траве алтайского плоскогорья, с подписью моей одноклассницы, на этот раз, видимо, набравшейся в дороге сил для радости. Она писала, что здесь, в зеленом раю коней, отчетливо слышит голос, раздающемуся отовсюду: «Я тебя слышу. И я тебя люблю».

Психолог мне потом скажет, что зависть — лучший контролер уровня счастья, но плохой навигатор. Подсказывает, чего сейчас не хватает, но не говорит, куда за этим бежать. На плоскогорье раздавали глас Божий, над плоскогорьем разливалась безусловная Божья любовь — и я несколько дней отпуска посвящаю прениям с мамой, обиженной тем, что я рвусь от лучшего, что она и жизнь мне дают сейчас, к каким-то чужим людям, в какие-то чужие места. Я помню, что на будущее лето собираюсь быть уже не в том положении, чтобы ехать на лето в горы — ни за конями на Алтай, ни хорошо кушать к бабушке. И отчаиваюсь, что место встречи с Богом, который бы меня вот так, в голос, слышал и любил, откладывается на неопределенно долгий срок. И негодую, что все внимание Бога сейчас достается не мне, а людям, в связи с которыми я и мой дядя так глубоко захлебнулись грустью.

Когда через два года в те же дни я снова приеду к бабушке, я больше всего боюсь вернуться к своим сожалениям о том последнем лете с еще здоровой, а скорее всего неявно больной, мамой — и остаться один на один с моей детской виной, завистью и обидой. Но я провела в Киргизии месяц, и меня ни разу не накрыло, и два года спустя я без труда и срывов исполнила страстный завет моей матери, хлопотавшей о том, чтобы напитать меня летом, силами и здоровьем на рабочий год. Я ходила по узким, засыпанным щебнем улицам, утыкавшимся в самочинно застроенные владельцами частных домов тупики, и мне казалось, что прямо здесь, не отходя от шашлычной с пивом, я слышу голос, раздающий безусловную любовь. И что голос этот — мамин.

В этом году я приехала к бабушке счастливой — но без мамы. А тем летом была там с мамой — но несчастлива.

Мне нравится идея, что ада нет. Что Бог не отсылает душу — а это она сама, отсырев от печали, не может подняться к Нему и в бессрочном скитании в сферах, на разный накал прогретых Его любовью, сушит свои тяжелые и липкие ангельские ризы.

В счастье мне кажется, что я слышу Бога, потому что счастье похоже на Бога. Вездесущее, сияющее во всю широту мира, выбрасывающее протуберанцы силы, чтобы не разорвало от полноты горячего света и слепящего тепла. Почему же я думаю, что специально для меня зажмет любовь Тот, в Чьей природе — беспредельность?

От обиды на мой первый поход и от стыда за наше последнее лето я жалуюсь Богу на сбой связи. Но это Он хлопал в ладоши мне над ухом, чтобы вывести в зону лучшей слышимости. А я не слушаю — я ищу плюшевый рай с конями, потому что знаю только один образ любви: когда Бог, как мама, пожалеет и даст доспать, донезиться, и раздумает будить, тихонько прикроет за собою дверь и отрежет от утреннего холодного ветра, и забитого автобуса, и школы, где, не ровен час, высмеют и опять много зададут.

И вот я подбираюсь и, кажется, нащупываю едва заметный шовчик Клайва Льюиса, заделывающего прореху в картине веры. Льюис узнал цену своей вере, когда измерил правдивость и полноту своей любви. А я — своей утраты.

Это только кажется, что горю до нас достучаться быстрее, тогда как за счастьем придется лезть в плоскогорье. Десять встреч по часу мы с психологом разбираем мое чувство вины и стыда и так и не доберемся до того, что их вызвало. Виною и стыдом легко завалить любую прореху, и я уютно расчесываю на коленках корочки обид,



страхов и споров, вводя утрату в привычку, подсекая ее в однокомнатный наш интерьер, обихаживая место отсутствия цеплючими разлапистыми цветами.

Утрата затирается в быту, как изначальная любовь, баррикадируется пивасиком из холодильника, трусами мужскими, женскими и детскими, грудой посуды в раковине, пылесосом, который мешает, куда ни поставь, наконец, неизменно оживляющим утро, день, вечер и ночь ребенком — о, ребенок — безразмерная затычка на месте любого отсутствия, он заменяет общение и секс, утрату и вдохновение, амбиции и смысл жизни.

В книге Анны Старобинец о прерывании беременности на позднем сроке есть интервью с женщиной, образцово переживающей утрату. Она носит черное и заставляет плакать себя каждый день, пока длится отведенный ей для себя и семьи период траура, и я начинаю завидовать ее правильному погружению в медитацию горя, потому что я нарочно не носила черного и плакать ленюсь.

Разучилась плакать, — жаловалась мама, которая и хотела бы выплакать свое несчастье, да не могла. Теперь я ее понимаю. Плакать не можется, как не находится сил бессонной от муторной тяги в животе ночью встать и дойти до туалета, и влить в себя теплой соленой воды, и, заранее содрогаясь и давясь, расщекотать пальцами в горле смерч нутра, чтобы вымыло, вымазав лицо и руки, частички пищевого яда, нудящего тело к тревоге.

Так было со мной несколько лет назад в рабочем бараке под новогодней Москвой. Я подключилась ко второй в своей жизни смене православного молодежного сообщества, помогающего реставраторам церкви и монастырей, в надежде найти компанию по душе, и хотя в эту смену я впервые увидела, как принято у воцерковленных людей справлять Новый год, поработала шпателем в респираторе и увидела труднодоступные деревянные храмы Подмосковья, запомнилась она мне самой долгой, одинокой и никчемной ночью, когда со мной опять случился редкий приступ повторявшегося иногда внутреннего сбоя.

Моя утрата — это беспокойная ночь в теплом бараке, устланном спальниками, через которые так трудно пролезть незаметно, что даже не хочется начинать, но придется, потому что тело как будто взвилось против законов выживания и гонит меня прочь из людского тепла в промерзлый предбанник, где даже не туалеты, а ведра в бетонной нише, и я склоняюсь над поганим ведром, и мокрые пальцы липнут к стальной ручке, когда я несу его еще дальше в ночь и холод, к помойной яме за обледенелыми сугробами, а тело не унимается, и я, каждый раз пробираясь обратно в темное тепло спальника и устраиваясь, как до утра, хорошо знаю, что скоро встану опять, и буду вставать до последней капли желчи, от которой накануне меня вело и понуждало злиться на всякую мелочь, а теперь я будто вычищаю эту копоть злости целым полем хрустящего снега, через которое, когда совсем скрутило, я иду под круглой луной к деревянному туалету-сараю возле храма, к которому днем мы носили бревна, обходя сердито лающую собаку, и мне не вспомнить, что так выводило меня из себя накануне, мне лишь бы собака не тронула и внутри утихло. И вот наконец моя ночь крепостью за минус двадцать градусов подходит к утру, и я, не проспав и минуты, вхожу в барачную нашу кухню и не помню ни зла своего, ни мучений от радости, что вижу человека, одного из смены, и кажется, самого высокого. Он читает утреннее молитвенное правило, нам всем сегодня к Причастию, но я прошу его помочь мне, и он вызывается добыть активированного угля, а я успеваю спасти его и дежурных по кухне от синего санитарного света, который они по ошибке включили.

Плакать от утраты можно, только насилиу вычистившись, выпустив из себя всю желчь. Горе — стыдно, болезнь — обидно, смерть — безобразна, вина — прогнила, жалость — тягомотна, и только утрата — чистое чувство, легкое, сильное, химически резко прочищающее контакты в голове. Стерильное чувство отсутствия, и чтобы добраться до нее, надо выполнить рвоту как работу, вытащив из нутра все то, что забивает пустоту и бродит, пустотой подтравленное. И не смыкать глаз, и шебуршиться, и лезть через весь барак, пока все мирно спят накануне Причастия.

И вся жизнь до утраты — это мирно, тепло и тесно спать накануне. А когда придет час, увидеть вещий сон, для которого к Иосифу Прекрасному не ходи, так он ясен и говорящ, яснее снов виночерпия и хлебодача: в самом начале нашей с мамой последней осени ко мне ночью пришли два грудных младенца, тучный и тощий. Да, один такой здоровый и милый, что не запомнился, а второй худой, болел и, помню, грудь не брал, как я ни старалась.

Две новости, хорошая и плохая, год чудесного прибавления и непоправимой утраты, — о чем тут еще говорить, но сейчас, мне кажется, я вижу в этом сне новый смысл.

И прибавление, и утрата, и возвышение, и казнь, и жизнь, и смерть — это дети, Его дети, равно и одновременно врученные моему попечению.

Нет, в Его любви к нам не видно жалости, в нее не уткнешься поплакать, как в мамино мягкое тепло, обернутое байкой зимнего халата. Он не оставит доспать.

Христос завершает исцеление словом «Иди». Утрата — это когда ничего не остается, кроме как встать и идти, и жить вперед и дальше, потому что все, что было, выплеснуто поганым ведром в ледяную яму вещей и отношений, которым от века положен предел меньше века.

Божья любовь не нежит, а нудит. Она не о том, чего бы мне хотелось, а о том, с чем я могу сейчас справиться.

За это трудно почувствовать настоящую, слезную благодарность. Но легче подтянуться, встать и пойти.

Исцеленным от прошлого, с нуля начавшим жить, до новизны вычищенным человеком.

### *Манго из Мьянмы*

Хотела бы я первым припомнить случай попонятнее стороннему слушателю, а главное, не такой нелепый и не задействовавший авторитетных представителей литературы в анекдоте на манер Хармса. Но это факт, что я впервые рассмеялась, подумав о маме с тех пор, как она ушла, однажды вечером на пути от метро Каширская к остановке самого старого и когда-то единственного в нашем районе автобуса, которого, когда мы сюда переехали, было не дожидаться, и пассажиры там, куда я иду, перекрывали шоссе в знак протеста, а потом долго ехали домой, вмянаясь в створки дверей и не давая им схлопнуться внутрь, будто придерживая пытающегося упрыгать из-под них кузнечика. Рассмеялась, вспомнив именно эту историю, которую и историей-то не назовешь, потому что, на счастье мое и всех так и не задействованных в ней авторитетных лиц, она все же не случилась на презентации моей первой книги. История, которая не случилась, началась в просторном и теперь навсегда утраченном кабинете главного редактора журнала «Октябрь», принявшей живое участие в подготовке моей презентации — собственно, идея пригласить лиц, авторитетных в литературной критике, и устроить не просто вечер книги, а настоящую дискуссию о судьбах и трансформациях критики, которую в наше время проводят то и дело, чтобы узнать, как по-разному сейчас понимают и пишут критику, и разойтись, нисколько от этого знания не пострадав, — удачнейшая идея эта принадлежала главному редактору журнала «Октябрь».

И вот так совпало, что главный редактор тогда особенно следила за собой и на редколлегии, чувствовалось, отвлеклась на запрещенное. На редколлегии утверждался план презентации, как-то скоро приблизившийся к раскадровке стола. На котором, волей главного редактора, уже появились закуски — легкие и шушущие от приятной хрусткости. «Можно, — давала себе все больше воли главный редактор, — можно немного купить, совсем немного купить можно и чипсов. С сыром, а лучше, — вдруг решила, — лучше с беконом». Сказала — и поперебирала в воздухе пальцами. Бекона ей можно было только так, в легкой присыпке к воображаемому чипсам.

Но я запомнила. Я вообще внимательно запоминаю советы, и даже в одном гороскопе прочла, что такие, как я, всегда благодарны за совет — и больше не удивляюсь, что то и дело встречаю авторитетных лиц, которые планируют за меня ключевые моменты моей жизни. Я запомнила про чипсы и рассказала маме. А мама моя тоже человек авторитетный, но рисующий планы в условиях менее просторных, чем наш главный редактор. Чипсы с беконом у мамы немедленно приняли вид прозрачного бокса с лопаткой в районном Ашане, где можно накопать хоть с беконом, хоть с крабом, хоть мешок. На столе в просторном зале книжного магазина на Покровке, где предстояло провести презентацию, мама дорисовала мешок чипсов и выпивку.

Это потом главный редактор, возможно, свернув диету, а также услышав от директора книжного, что в текущем сезоне принято решение банкеты запретить, придет в ужас, услышав про вино или водку, и чипсы тоже отменит. А мы с мамой, сначала обескураженные, проиграем весь план заново и вдруг расхохочемся от нелепой сцены, которой должна была венчаться моя презентация, моя критическая дискуссия, мой торжественный вечер. К столам, на которых водка и силос — мама так и назвала рассыпанный по пластиковым тарелочкам мешок со съестными добавками, — устремляются авторитетные гости и участники дискуссии. Которым героиня вечера, помахивая «Толстой» своей «критикой», говорит: «Что же это вы, Николай Алексеевич, вперед Владимира Ивановича, встаньте-ка сюда, за Ириной Бенционовной, здесь уже очередь к бекону, а водочки Вам налить?» Надо учесть, что Николай Алексеевич не кто иной, как заведующий кафедрой литературной критики, профессор Богомолов, из лекции которого на первом курсе я не понимала ни слова и которому на банкете кафедры по случаю защиты моей кандидатской диссертации, млея от невероятного сближения, я предложила положить в тарелочку маринованный грибочек. И услышала то, что запомнила лучше и дороже лекций: «Без подобострастия, пожалуйста». А Владимир Иванович — не кто иной, как критик, прозаик и языковед Новиков, научный руководитель моей диссертации, запомнившийся тоже сказанным впрямую, но на всю жизнь: «Не могу же я беременной вечернице поставить "четыре". Поставлю — а она потом неправильно родит. Я ставлю "отлично". Я гуманист». Про своего учителя в критике Ирину Бенционовну Роднянскую я вообще молчу: то, что я видела ее однажды на Тверском бульваре в голубом летнем платье с рукавами-фонариками, не дает мне права удерживать ее в очереди к силосу, пусть даже в моем и мамы воображении.

И вот я вспоминаю всю эту невидимую миру чушь, и этих людей, о чьем особом месте в моем воображении знала только мама, и впервые чувствую, как смеюсь, заливаясь в голос по дороге на остановку, толкая коляску и вдруг выталкивая себя в неизвестное науке измерение, где я и мама, расставшиеся как нельзя окончательно, опять заодно и веселимся над только нам понятной, семейной нашей шуткой.

Как критик я никогда не справлюсь с одним, сколько бы книг, своих и чужих, ни презентовала: не разберусь, как передать особенный стиль моей мамы, который и мне-то стал виден, только когда она наконец научилась вбивать «толстым пальцем» (еще один семейный наш мем) сообщения в телефон, и я вместо нелепостей типа «газетку кых» (еще мем), то есть «газету Экслибрис купила», стала получать от нее послания, замечательные по краткости, резвости и ехидству. Ее сообщения — задокументированная материнская забота, но и — нетривиальность, неподражательная и ржательная странность, легкая головная бекрень, благодаря которой мама к моим двадцати пяти наконец смогла въехать в специфику моего профессионального и творческого мира и, переводя язык редколлегий на язык завсегдатая Ашана, метко разгадывать и запросто решать все мои критические и корпоративные затруднения.

Она была первой, с кем я убедилась, что для точного и глубокого понимания вовсе не требуется разделять профессию, опыт и увлечения собеседника.

Требуется другое: совпасть с ним в том, что он предпочитает прятать.

У меня ни с кем не получится больше поохотать, как с мамой, потому что не

с кем разделить наш стыд. Эту семейную жалливинку. Бабскую нашу нелепость. Висельный восторг.

Это юмор нелепо устроенных людей, которые верят, что, сколько ни глупи, повезет. Потому ли, что Богу весело с дураками, потому ли, что они верят в финальный отыгрыш добра, а себя считают, сколько ни ругаются, добрыми, потому ли, что они решили, будто судьба забудет про них, с их тыквенным домиком и бравым аппетитом, как большой мир забыл о веселых хоббитах.

Моя бабушка сказала о ловкой соседке: она умеет жить. Сказала с признанием — и пренебрежением. В нашей семье не модно уметь жить. Потому что с теми, кто умеет, никогда так глупо не похочешь.

Те, кто умеет, звонили маме, когда она зависала у бабушки, и звали ее, словно молодую батрачку от госпожи. «Купи персиков, — просила одна бабка, дотащившая до двора слоновьи свои ноги, — купи, а то дочка вечно не то принесет». Пожилая хозяйка сада, который некому обирать, хватаясь за спину, просила маму подвинуть железную лестницу под виноградник. А ловкая соседка позвонила просить за вдову — помыть отошедшего мужа. Заказать омовение в морге, как выяснила моя мама позже, вдове показалось дорого.

И кто здесь выглядит смешней и нелепей — мама за шестьдесят, потащившаяся мыть покойника в кругу молча обступивших и ни шагу не помогающих мужчин, или соседка за семьдесят, которая все еще боится мертвых, зато, подкатив на похоронном автобусе до кладбища, сообразила пробежаться между делом до могилы и своего мужика, а после поминок звонила маме с вопросом, че не пришла угоститься? Ну и что, что не звали, — тут, в Азии, угощают всех.

Как это работает? Что за музыка запускается в маме, стоило вдове тренькнуть с просьбой забрать теперь мыло и полотенце от покойника, — и пружинку прижать: брезгуешь, да? Конечно, — сказала мама, — конечно, — сказала она мне, — я тут же сказала: давайте.

Маме следовало отказаться — но та, кто могла бы сказать «нет» вдове с ее ритуальным мылом, не поехала бы и к матери в стылую квартиру без отопления и обогревателя, без возможности остаться на старости в покое.

Спокойной жизни, — сказала я, — спокойной и размеренной жизни, — сказала я последнему из маминых ухажеров, благополучно женатому мужчине без материальных и жилищных проблем, изумительно готовившему салат с каракатицами, выровнявшему нам на кухне потолок и по сей день высылающему мне редкие поминальные сообщения в ватс апе, — спокойной и размеренной жизни — вот единственное, пожалуй, чего маме действительно не хватило. Сказала — и неожиданно получила утешение: а, спокойная и размеренная жизнь, ответил он, так надоедает.

От этого чужого нам мужчины я ждала меньше всего — но именно он рассказал мне, как чувствовал мамину боль в месяц перед ее уходом, — по датам, сказал, могу вспомнить, — и как она потом приходила к нему, и он не боялся, потому что так приходили к нему одна за другой покойные бездетные тетки, оставившие ему свои московские квартиры с котами и библиотеками. И поэтому только от него я готова была принять вообще-то пустой совет — отпустить маму, чтобы она могла спокойно и размеренно отбыть.

С ним, пожалуй, да, с человеком, которого, ввиду их с мамой закадровых отношений, я не могу назвать на домашние поминальные посиделки, — с ним одним я сегодня повспоминала бы маму. С кем же еще? Когда она ушла, первое острое сожаление мое было — не успела, так и не успела записать ее голосом рассказанную историю о нашем семейном прошлом. История записана с ее слов, и есть тетрадка, где начисто перерисовано недолгое наше, но развесистое родовое древо, — но я хотела бы проиграть себе эту аудиокнигу, где мама рассказывает о драмах и разочарованиях такой давности, что не болит. Я хотела себе эту сказку о нас ее голосом — но мама, пока болела, хотела говорить о чем угодно, кроме семейного прошлого, и вспоминала просмотренные с утра сериалы, школьные обиды, студенческий угар, ее страх в моей

больнице, придурь бесчисленных в молодости ухажеров. Я жалела отчаянно — и только через полгода, съездив по стопам мамы к бабушке, успокоилась.

Хорошо, — сказала я, — хорошо, — сказала я себе, — хорошо, что мы с мамой успели поговорить о ней самой. Потому что за эти полгода выяснилось: больше о ней поговорить не с кем.

Лучшая подруга мамы, подменявшая маму мне, когда моя когда-то слегла в больницу с кровотечением и едва не истекла жизнью, пока врачи в уже постсоветской больнице оперировали блатных и дожимали взятку, — эта вторая мама моего детства прозвонится однажды с трудом и скажет, что ей чего-то не хватает. «Обычно, — сказала, — я звонила Жене, а тут не хватает — некому, оказалось, теперь позвонить».

Русская авантюристка, у которой мама работала в девяностые и наблюдала, как та дожимала покровителя из Эмиратов до второго и позднего брака, — и с которой они как-то раз вызывали рабочих, чтобы добыть мамин паспорт и ключи из свалки, куда их вместе с маминой сумкой выбросил не вовремя вернувшийся домой араб, ревновавший к русской дружбе и пьянке, — сказала мне в воркующей своей манере, непререкаемой ни для араба, не готового жениться, ни для мамы, не готовой столько пить, — сказала: «Ну уж ты так не убивайся», — стоило мне, почуяв общую почву воспоминаний, рассестись плакать.

Мамина одноклассница и подруга детства, с которой я долго обговариваю уютный прием у нее дома с пловом, самсой и молодыми воспоминаниями, завоет на угощение незнакомую мне татарку Флюру, и мы, пригубив за маму, пустимся обсуждать дела внучек и правнучек, перспективы сыновей, пользу разжеванных виноградных косточек.

Мамина мама, с которой у меня раз только екнуло за месяц лета у нее — когда она припомнила, как маме однажды понравился директор совхоза имени Ленина. Я наострилась, готовясь услышать упущенную в маминых беспорядочных воспоминаниях историю, и бабушка подогрела мое внимание, поведав, что мама про директора действительно как-то сказала: вот за такого бы... — ах, думаю, неужели замуж? — за такого бы, — продолжила бабушка, — можно голосовать. Оказалось, мы обсуждаем тайную жизнь не мамы, а кандидата в президенты Грудинина.

Я привыкаю не нарываться, не вестись — ни с кем не говорить о маме, и сама вскоре прочно чувствую, что тут и говорить не о чем: мама уехала, бывает, уехала туда, откуда не позвонить, тут нечего обсуждать, ничего не случилось, и вспоминать нет повода.

И страшно бешусь, когда дочь ловкой соседки, которой бабушка, наоборот, сняв блокаду на горе через полгода, наконец рассказала о нашей утрате, — когда она взрывает мою спокойную и размеренную без мамы жизнь потоком соболезнований в чате.

Я не верю соболезнованиям, как не верю горю, которое они разблокируют, — кто просил? Во время десятидневной сессии по следам утраты психолог скажет, разом отпуская мне все мои виноватые, колкие, измызганные, но цепко и бережно удерживаемые сокрушения перед мамой: это чувство утраты, это к вам стучится чувство утраты, через ваше обычное чувство вины — потому что другие сигналы вы не привыкли слышать.

А когда не достучивается изнутри, звонят с городского — и я беру трубку в метро между поездами, и успеваю провести самый смешной и нелепый диалог в своей жизни, о котором я хотела бы рассказать маме, чтобы похихотать. Через полгода после маминой смерти мне дозвонилась патронажная сестра из поликлиники — с вопросом: Евгения Николаевна сама к нам ходит или под домашним наблюдением? Я издаю смешной и нелепый подых, сообщая ей, что Евгения Николаевна погода назад умерла. И она, взбудораженная новостью, но не растроганная, успевает пролепетать на мой уточняющий вопрос, что она звонит, потому что им «пришли списки». Что за списки, я не успеваю узнать, потому что поезд приходит, трубку вешают и после не берут, а в

поликлинике ко мне выходит патронажная сестра другая, и она знать ничего не знает о списках, но предполагает, что могли позвонить, чтобы закрыть страховой полис.

И когда, выслушав от друзей в чате, что это возмутительно, а сама возмущаясь куда меньше тем, что позвонили, и куда больше тем, что — напомнили, я прихожу дорыдывать домой и принимаюсь разгружать душу и шкафчик с книгами по искусству, то неожиданно получаю напоминалку, о какой и не мечтала. Между буклетами из путешествий нахожу тонкую тетрадь, исписанную от руки и забытую здесь на годы. Это моя мама вела заметки в одном из двух своих заграничных выездов, во Франции. В Италии и Франции моя мама была счастлива. В Италии и Франции десять дней моя мама умела жить, и, пока все, сглупив, потащились в Версаль, она, к примеру, спокойно и размеренно обошла центр Парижа. Ее морской обед на Капри, куда ее едва уговорили ехать за дополнительную плату, она вспоминала как апокриф о пире в раю.

Пир на Капри и зима с ноющей утробой и душой. Везука и непруха. Все, что Бог ни делает, к лучшему — и: зачем допустил, Господи?

При татарке Флюре я поддержку застольный разговор о погоде и припомню эту мамину зиму. Какая холодная, скажу, была эта зима. И встречу недоумение: нет, теплая, и быстро прошла. Конечно, я перепутала: ведь эта зима была уже не мамина, эта теплая зима уже ее не ждала, а та, год назад, почему именно та зима в Киргизии, где когда-то, мама рассказывала, дети гурьбой наваливались на горстку снега и полоску льда во дворе, истаявших к вечеру, — именно год назад, именно для мамы, аккурат в ее единственный год у бабушки оказалась такой затяжной и холодной?

Сколько раз мы с ней глупили. Покупали испорченную рыбу, ненужную технику, забывали деньги, не защелкивали дверь, ехали без билета, возвращались по темноте, связывались с незнакомцем, а как-то раз приволокли громоздкое, армейски зеленое пальто с Черкизона, и уже выходя с добычей из домашней станции метро, обнаружили, что одна пуговица разломана, и горюя и стеноя, поволоклись за полтора часа ходу обратно. И нам меняли пальто, и возвращали деньги, и мы сбегали, и выворачивались, и упрашивали, и выигрывали, и находили. Бог миловал, выручал, подфартивал. Жалел.

Доверчивым и быстрым шагом человека, привыкшего охотно следовать, куда позовут, потому что раз позовут — не обидят, мама отправилась к бабушке, порадовавшись, что не потеряет в деньгах: девочка, с которой она подрабатывала няней после ухода на пенсию, как раз отбывала на ПМЖ во Францию с папой-французом.

Ни намек, что надо бы задержаться, остаться, свистать всех наверх, полундра, на баке швабра горит, — как шутил наш дедушка-моряк, — как ни намек, что у рачительной на работу садоводки, приставшей к маме с железной своей лестницей, были, оказывается, и в Джалал-Абаде знакомые онкологи.

Бог спрятал намеки, чтобы не отвлекать, не сбивать с пути. Катер на Капри уже завелся, и маме с пира в открытое море не соскочить.

Я начинаю понимать, почему мама любила заунывные, грустные песни. Ей было с кем поохотать — но не с кем поплакать. Чья-то рифмованная грусть на полевой мотивчик давала отмашку на запасный выход печали.

На диске старых, по годам разложенных фотографий я нашла видео, которое нельзя сейчас смотреть. Не потому что больно — просто, записывая это четыре года назад, за три с половиной года до ее смерти, я сглупила, не приняв во внимание шум в суши-кафе, куда мы отправились отмечать мамин день рождения.

За пятисотку мне немного вытянули звук, и я поняла с грустью, что в мамыны признания в тот день я вслушалась не более чем в шум.

Мы умели праздновать, веселиться после бури, отмечать удачу после риска, мечтать о вкусном и перебирать нарядное. Мы умели посмеяться — и никогда не плакали.

Вместе — нет, не плакали, не умели вместе, слезы нас разлучали, и каждая злилась, если другой плохо, потому что каждой хотелось, чтобы другой было хорошо.

Когда маме было хорошо, она разрешала себе покушать, выпить, потянуться — и попечалиться.

Я вижу это только сейчас, на этом видео, где самые печальные слова не разобрать, зато хорошо слышен мой подкручивающий праздничное напряжение в маме задор. Я с детства не любила, когда она выпивала. Потому что боялась ее расслабленную. Вольную, печальную, равнодушную к тому, как нам накушаться и повеселиться.

На этом видео я так беспокоюсь, не мешаю ли маме веселиться, что не замечаю, как мешаю ей распечалиться.

До сих пор в воображении я подключаю ее к нашему с ребенком празднику. Тридцать пять лет совместной жизни — достаточный срок, чтобы еще столько же и больше проигрывать показательные диалоги, как из учебника по иностранному языку, зная наперед — вспоминая назад, — что мама сейчас ответит. Что ее точно рассмешит, возмутит, удивит, растрогает.

Наша попа рождена сверкать. Ты лучок или все-таки скорее чесночок? Мусор или мама — что мы вынесем, что оставим? Писа хищная, спрячем ее, а то обольет. Вырастет из сына свин, если мать свиненок. Как много детей, откуда тут столько детей развелось? Пришла хлебная палочка и сказала: кусь тебя! Я несу эту глупость с удовольствием, громко, на публику, уверенная, что поймает и поймет та, которая возражала мне, что зато кашка меня хочет, и стягивала одеяло за уголок, гудя побудно одеяльным, ватным таким тоном: «Прощай, девочка!» — и ложилась со мной спать, сетуя, что прогонят, когда захрапит, и безропотно уходила ночью с подушкой, когда прогоняли, и верила в сиреневую Поспатеньку, которая жила в детской скрипке, пока не продали на Авито, а теперь живет в моих рассказах малышу, и летит, летит сиреневая Поспатенька, и надо тише, а то спугнешь.

А есть ведь глупость непередаваемая, такая, что ни в сказке, ни в блоге не сказать, взять хоть мои домашние прозвища, одно из которых мелькает на видео, воскрешая в памяти второй эпизод, который пробил в моей утрате смеховую брешь: как мама случайно встретила меня, споро несущуюся к переходу на Земляном валу, и схватила, едва на скорости удержав. Крыс несся — и был пойман за хвост, — долго смеялись мы, потому что сам факт, что мама зовет дочку Крысой, давно вошел в обиход и перестал смешить.

Крысой, и свинкой, а в мою беременность мама и вовсе зарвалась и вскричала: ты, маленькая свиница! — когда я утекала из-под ее воли на какую-то тусовку. И добавляла часто: ах ты гадость!

Это трудно логически объяснить — зато легко понять, почему я, когда тоже не в силах сдержаться, хватаю ребенка и восклицаю в восторге: какая гадость!

«Я шла и пела песню о Пилецки», — часто говорила мама, торопливо заходя домой с темной холодной улицы после темного рабочего дня. Почему меня так назвала и когда начала звать, уже не разгадать. Зато понятно, почему она про это пела — на мотив советской эстрадной песни про светофор.

Она шла и пела песню обо мне — потому что я была ее свет в домашнем окне, потому что больше петь ей было не о ком, потому что мы одни друг у друга, потому что мы семья из двух человек и потому, как бы я ее ни огорчала, ни раздражала, ни печалила, ни утекала из-под ее воли, она шла и пела песню о Пилецки, чтобы согреться напоминанием о лучшем в своей жизни.

Так теперь пою и я песни про Самсона. Во всю глотку, не дожидаясь конца материнского рабочего дня, в полном свете домашней радости.

Однажды муж напомнит мне мамину песню, когда вернется после работы ко мне, беременной и хлопчущей на кухне, и скажет про меня с редкой нежностью в голосе: а я иду, смотрю в окне — ходит. Однажды он напомнит мне и нашу с мамой бесшабашную глупость, когда мы захохочем с ним над грудой годы не приходящих вещей на захлавленной лоджии: а этот таз с котятками зачем? — спросит. — Варенье варить! — уверенно и по-хозяйски отвечу я. — Понятно, — ответит, уже срываясь на

редкую улыбку, — а по сути? — и мы оба хохочем от этой глупости: хранить таз для варенья, зная, что никогда не возьмемся варить.

Полную банку консервов из манго, «Манго из Мьянмы», с надписью на банке: люблю жизнь, — я увидела сейчас в магазине восточных товаров, недавно открывшемся в нашем ТЦ.

Увидела, перечла надпись на банке и содрогнулась. Такая точно банка из Мьянмы осталась несъеденной, потому что была куплена маме в ее последний день дома, за три дня до смерти.

Жизнь дурака — несъеденная банка варенья. И хохот от того, что зуб неймет.

Мы прожили вместе тридцать пять лет, и только напоследок я узнала главную, пожалуй, тайну наших отношений. «Ты не знаешь, — сказала мама, содрогаясь, — ты не знаешь, — сказала мне, изливающей какие-то свои неопытные тревоги о младенце, — ты не знаешь, как тяжело это — с больным ребенком».

Вот как, поняла вдруг я. Она всю жизнь помнила и считала меня больным ребенком. А я и забыла о своих больницах в детстве, с роддома до младшей школы.

Как трудно с больным ребенком — да, понимаю: не легче чем с веселой и сильной мамой.

Так трудно бесшабашным дуракам.

Так трудно им, да, выйти из раз и на всю жизнь взятой роли.

И слышать себя через шум.

Я и сейчас не все дослышала, и не уверена, что разобрала правильно.

«Мама: ...Я сижу, читаю "S.N.U.F.F"».

Я (*по сценарию дня*): А почему ты сидишь с шариками тут?

М. (*по сценарию дня*): Я с шариками, потому что у меня день рождения. Единственный (...) Ну сколько лет? Ну, правда, самое многое, что может быть, ну, не самое, середина. Но после этого только хуже и хуже, хуже и хуже...

Я (*недовольная отступлением от сценария*): Почему хуже-то? Лучше и лучше!

М. (*раскручивая свой сюжет*): ...а душа будет больше и больше, больше... (Внезапно.) И я улечу!

Я. (*не втыкая в сюжет*): Че у тебя будет больше и больше?

М. (*раскрывая глаза*): Душа.

Я: А, душа больше, да. (*Резко переключая регистр.*) А пуз?

М.: Пуз?

Я: Пуз.

М. (*никак не переключаясь*): Что, пуз?

Я: Пуз!

М.: Как, пуз?

Я (*радуясь, что сработало*): Пуз!

М.: Ну извините, это матерьяльное, я вам говорю о духовном.

Я (*не меняя тона*): Ну. Так, расскажите.

М.: Потом я улечу. Так говорят.

Я (*продолжая веселиться*): А куда?

М.: А, в другое измерение... Это меня очень устраивает, потому что как-то объясняет (...) Хотя... Нет, я не хочу об этом разговаривать, не хочу... Все-таки в этом что-то есть, в этом есть утешение.

Я: Да.

М.: Но не более.

Я (вдруг всерьез): Это правда.

М. (*задумчиво*): И все! (*Вспоминая сценарий.*) Я еще, конечно, еще буду праздновать свой день рождения сегодня.

Я (*поспешно возвращаясь к сценарию*): Нет, ты еще много лет будешь праздновать! Много, много, много, много, много, много!

М. (*снова переключаясь*): Я буду идти, идти к своему дню рождения, идти, идти, вот так, хромяя, косая, нет, не косая, но не знаю, идти, идти...



Я (*тормоша*): Не, ну подожди, ты должна же год жить, а не идти к дню рождения. Как бы ты же живешь!

М. (*показывая на пальцах*): Плоть должна уходить, а душа должна расти.

Я (*настойчиво переключая обратно*): А не наоборот? Не наоборот, да?

М.: Наоборот — в общем так вот... А потом, когда это (*помахивая*) дорастет, дорастет, дорастет, ты фьють — и куда-то улетишь. Что-то в этом есть. (*Беззаботно.*) Да, это правда, я верю. Мда, мда, мда. (*Переключаясь наконец.*) Ох. Уже нам несут ужин, хаха. Мы можем взять два шарика, потому что. Во-первых, день рождения.

Я (*радуясь, что опять сработало*): А во-вторых?

М. (*окончательно возвращаясь в роль*): А во-вторых, они халявные. Вот они, наши... Давай потом возьмем и убежим. Мы будем бежать или поедем?

Я (*без запинки подхватывая знакомую реплику*): Бежать, конечно, ха-ха. Не заплатив. Как мы любим, ха-ха!

М.: Ну не надо. Мы, все-таки, ну все-таки.. (...) (*Мечтательно.*) Когда мы придем домой... Я знаешь, почему задержалась, потому что я убирала дом. Теперь я хочу есть.

Я (*перехватывая реплику*): Я тоже хочу есть.

М. (*далее как по писаному*): Ну и что? Это у меня день рождения, мало ли.

Я: А я, а я приглашена в первых числах.

М.: А ты подалку подарила?

Я: Да. Я сдала деньги за подарок.

М. (*показывая*): Гы.

Я: Вот за вот этот. Агата укусит сумку, интересно, или нет?

М. (*припоминая свои беспокойства*): Ну, я ей не дам укусить.

Я (*дозволяя в меру расслабиться*): Нет, если Агата укусит сумку — значит, хорошая сумка.

М. (*прыская от нелепости*): Да, мы будем все так проверять.

Я (*припоминая свои беспокойства*): Ну, тебе хорошо? У тебя веселый день рождения?

М. (*без запинки подхватывая знакомую реплику*): Конечно, веселый день рождения.

Я (*дожимая сценический эффект*): Но без меня ведь не так весело было, правда?

М. (*как обычно, целиком в партнере*): Конечно, нет, конечно, нет, потому что мне сегодня утром друг испортил настроение юбками... (*начиная загибать пальцы для перечисления*) потом... Ну и все.

Я (*явно польщенная, что перечень кончился, не начавшись*): Хи-хи. Ну и все, главное. (*Кокетничая беспокойствами*): А крыс?

М. (*кокетничая беспокойствами*): А крыс, он тоже хотел испортить настроение, он знает чем портит настроение, он (...) Это очень тяжело переносить.

Я (*доигрывая образ*): Но зато он же лоснится!

М. (*внося в образ красочку*): Да, но не зато, а он еще и лоснится!

Я (*признавая, что обыграна*): Хи-хи!

М.: ...совсем другой оборот, понимаете? Вот такая я несчастная. Мне кажется, нам вся Якитория собирает еду. Тогда шары это наши, это бесплатные тогда!

Я: Хи-хи, это главное, да? (*Удерживая мизансцену.*) С днем рождения, друг! (*Забывая, что уже говорила подобное.*) Я твой лучший друг, правда?

М.: Да. Пойдем в кабак, зальем желанье.

Я (*напоминая пароль*): Круп?

М.: Круп...

Я: Круп?

М. (*видя, что ничего другого не остается*): Круп, ха-ха, сматываемся.

(*Конец записи.*)»

С днем рождения, друг. Вот ты и улетела. Я надеюсь, тебе там немного слышно меня через шум. Шум моих мыслей о том, как слабо я, оказывается, расслышала тебя при жизни.